

Лингвокультурный портрет аудитории корпоративных университетских средств массовой информации (на примере газеты «Уральский федеральный»)

Анастасия Игоревна Бочарова – Александра Юрьевна Петкау

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

nas.boch@bk.ru

vpetkau@yandex.ru

Ключевые слова: корпоративные университетские СМИ, психолингвистический эксперимент, когнитивные признаки, аксиология

Keywords: corporate university media, psycholinguistic experiment, cognitive features, axiology

Современная ситуация на российском рынке средств массовой информации (СМИ) характеризуется высокой концентрацией корпоративных изданий. По данным Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 93% компаний используют корпоративные издания (АКМР, 2016) – «официально зарегистрированные СМИ, отражающие интересы конкретных корпораций-учредителей, издающиеся по их инициативе, способствующие их развитию, решению стоящих перед ними задач путем установления и поддержания контакта со значимыми для этих корпораций группами общественности» (Чемякин, 2012, с. 100). Показатель распространения данного вида печатных и электронных СМИ продолжает оставаться высоким и в среде университетских газет. Это обусловлено тем, что эти издания являются основным коммуникационным каналом, выполняющим маркетинговые функции – создать сильный бренд вуза и добиться лояльности аудитории. «При высочайшем проявлении преданности верные вам потребители выступают в качестве адвокатов вашего бренда, рекомендуя его другим. В действительности, чем больше у вас преданных покупателей, тем более эффективным будет ваш маркетинг» (Холл, 2013, с. 119).

Общеизвестно, что аудитория играет определяющую роль в формировании имиджа, языкового портрета, жанрового и тематического наполнения корпоративного СМИ, см., например: (Блэк, 2002, Горчева, 2008, Колесниченко, 2009, Мурзин, 2005, Чемякин, 2012 и др.). Т. е. появляются содержательная, тематическая, дизайнерская, идеологическая и другие стратегии создания контента СМИ. Однако, чтобы они начали функционировать и «продавать» издание, необходимо определить конкурентное преимущество, а именно, каким образом происходит удовлетворение потребностей нашего читателя (Букша, 2006, с. 66).

В фокусе нашего исследовательского внимания находится аудитория газеты «Уральский федеральный», которая объединила ранее выпускаемые «Уральский университет» Уральского государственного университета им. А. М. Горького и «За индустриальные кадры» Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. Издание зарегистрировано как СМИ в 2012 году, периодичность выхода – один раз в неделю. Издание выпускается в печатном и электронном формате (отдельный файл, публикуемый в социальных сетях). Основное количество материалов создано в информационных жанрах, которые представлены в таких рубриках, как «УрФУ за неделю», «Уникум», «Управляя качеством», «Планета УрФУ», «Учись учиться», «На волне», «Улицы УрФУ». В газете нередко можно встретить публикации самих студентов, которые пишут о том, что интересно им и их сокурсникам.

Отправителями информации является медиацентр университета, получателями информации становятся студенты, сотрудники университета и абитуриенты. При этом к ядру целевой аудитории относятся только студенты, см. подробнее (Вершинина – Кунилова, 2016, с. 80), а сотрудники университета и абитуриенты относятся к периферийной целевой аудитории. Заметим также, что последним посвящены отдельные выпуски о Тест-драйве в УрФУ, где именно будущие студенты становятся основными героями и адресатами медийных сообщений. Однако в настоящей работе подобные номера газеты «Уральский федеральный» не рассматривались.

Цель настоящей работы – выявление ценностных характеристик лингвокультурного типажа «студент». Вслед за В. И. Карасиком под лингвокультурным типажом мы понимаем «узнаваемый образ представителя определенной культуры, совокупность которых и составляет культуру того или иного общества» (Карасик – Дмитриева, 2005, с. 8).

Исследователями предпринимались попытки описания лингвокультурного типажа «студент», см., например: (Антипцева, 2014, Заглядкина, 2009, Сухомлинова, 2013, Новикова 2014). В поднятых исследованиях анализировалось психологически реальное значение характеристик, т.е. «упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка» (Попова – Стернин, 2007, с. 67). Результаты свидетельствуют о том, что типаж «студент» представляет динамичную субкультуру, где через язык (ассоциации на слово-стимул *студент*) и заложенную в нём психолингвистическую информацию, есть возможность проследить интересы, особенности менталитета, социокультурные установки, ценности и потребности типичного представителя студенчества.

Материалом для настоящего исследования послужили результаты проведенного нами психолингвистического эксперимента среди студентов Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (далее УрФУ). В анкетировании приняли участие 100 респондентов, в том числе 14 иностранных студентов из Латинской Америки, Азии и Африки с уровнем владения русским языком А2-B1. Реципиентами стали 56 девушек и 44 юноши, из которых 37 получают гуманитарное образование и 63 – техническое. Эксперимент проводился в форме анонимного анкетирования.

Информантам было предложено ответить на 3 вопроса: «*Студент Уральского федерального университета – он какой?*», «*Какие три основные черты студента Уральского федерального университета Вы бы выделили? Объясните, пожалуйста, свой выбор*», «*Как бы Вы охарактеризовали типичного студента Уральского федерального университета своему другу-иностранцу? (предполагается, что ответ будет на русском языке)*». Время заполнения анкеты не ограничивалось, возраст опрашиваемых варьировался от 17 до 25 лет.

Методика заключалась в выделении когнитивных классификационных признаков, см.: (Попова – Стернин, 2007, с. 67–75) и дальнейшем ранжировании их яркости по принципу частотности и определении ядра, приядерной зоны, а также поле ближней и дальней периферии лингвокультурного типажа «студент».

В процессе интерпретации полученных данных было проанализировано 438 реакций. Отметим, что 11 признаков не были приняты к интерпретации, так как респонденты имплицитно подменяли понятия и на заданный вопрос давали не конкретные характеристики, а «пустые» реакции по типу: *разный*, *странный* и т.д. 2 анкеты оказались незаполненными, что объяснялось затруднением участниками за столь короткий срок учебы (в анкетировании участвовали и первокурсники) выделить специфические черты учащихся такого большого вуза. Кроме того, в 2 анкетах в

качестве ответов были процитированы слоганы из газеты «Уральский федеральный» («Яркий университет для яркого тебя», «Яркий университет для ярких студентов»), что свидетельствует о пассивном, в рамках коммуникативной тактики соглашательства, восприятии учащихся вуза.

Самый общий взгляд на результаты исследования наталкивает на три наблюдения. Во-первых, полученные реакции амбивалентны, т.е. отношение самих респондентов к образу студента двойственно: студент может быть как *пунктуальным*, так и *опаздывающим на пары*, как *ответственным*, так и *делающим все в последний момент*, как *тем, кто пришел за знаниями*, так и *за баллами*.

Во-вторых, большинство информантов, отвечая на вопросы, становились «чужими», абстрагировались и забывали о своей причастности к микросообществу студентов УрФУ. Лишь в трех анкетах из 100 встретились формулировки по типу «мы (студенты УрФУ) + характеристика». Возможно, это связано с тем, что не все участники могут отделить студента УрФУ от усредненной группы студентов, поэтому приписывали ему черты студенчества в целом. Данную гипотезу подтверждают такие фразы как «студент УрФУ – обычный/обыкновенный студент, который + характеристика».

В-третьих, были выявлены шесть характеристик саркастического характера: *домашний миротворец (тот, кто зубрит)*, *ЧСВ (чувство собственного величия)*, *мажор как в МГУ, только в УрФУ, задавшийся нарцисс*, *человек – мероприятие*, *прокрастинатор*. Негативное восприятие образа студента респондентами в данном случае говорит о двойственной природе типажа, обладающего как плюсами, так и минусами, т.к. определение чего-то или кого-то «рождается не значением, а жизнью» (Леонтьев, 1947, с. 27). Пафос высоких утверждений об учащемся высшего учебного заведения как о безусловной ценности подчеркнуто резко снижается посредством «карнавализации» – временного ценностного обращения, когда высшее становится низким и наоборот» (Воркачев, 2007, с. 142).

Представим результаты исследования в виде словесной модели.

Ядро формируется классификатором (обобщающим признаком) **Потребность в коммуникации (46,6%)**, который выражен следующими признаками: *приветливый, доброжелательный, отзывчивый, равнодушный, открытый, добрый, обаятельный, искренний, гостеприимный, коммуникабельный, общительный, хороший командный игрок* и др.

Отдельно стоит выделить признак *вежливости и воспитанности*, наиболее часто отмечаемый респондентами. При анализе анкет было выявлено несколько мини-историй, подтверждающих идею того, что учащиеся УрФУ – это хорошие слушатели и друзья: *со студентом УрФУ стоит сходить на концерт, выпить по чашечке чая, прогуляться по городу, посидеть в антикафе*. Для иностранных участников эксперимента очень важной показалась черта гостеприимности: *вы чувствуете, что как будто учитесь в своей стране*. Учащиеся Уральского федерального университета – как огромные волны, очень крутые, активные, инициативные, идейные люди, у которых хватает сил на разные занятия *от лыж до макраме*. Однако иностранные студенты, принявшие участие в эксперименте, свидетельствуют, что русский студент в первую очередь *ленивый*, об этом говорит их любовь к пятницам, к получению стипендий и их бездумная трата, о подобной черте студентов, см. например: (Антипцева, 2014; Заглядкина, 2009, с. 29).

Приядерную зону составляет **Познавательная потребность (33,3%)**. Отношение к труду и к профессиональному будущему выражено такими признаками, как *саморазвивающийся, работоспособный, трудолюбивый, исполнительный, амбициозный, целеустремлённый, нацеленный на успех, успешный*,

*приспосабливающийся, перспективный, надеющийся на русский авось*¹. В отличие от английской лингвокультуры в сознании русской языковой личности «главное в работе – желание трудиться» (Карасик, 2002, с. 142), что подтверждают реакции о важности процесса деятельности, а не только результата. Студент УрФУ должен быть *начитанным, грамотным, умным, любознательным, дотошным, знающим иностранные языки*, но порой он *что-то не успевает, но всё сдаёт*. Это означает, что образу студента присущи характеристики, совпадающие с индикаторами концепта «русский интеллигент», который эксплицирует семантику умственного труда и одновременно праздного поведения, а также концепта «разгильдяй», лексика которого нацелена на «проявление качества (значимое отсутствие либо плохое качество выполненной работы)» (Карасик, 2010, с. 209).

В ближнюю периферию входят **Физические потребности (8,7%)** и **Потребность в безопасности (7,3%)**. Внешнее впечатление, которое студент производит на окружающих, сводится к таким характеристикам, как *сонный, невыспавшийся, замученный, уставший, спортивного телосложения, они вечно голодные, любят покушать в столовой, их (студентов) можно постоянно наблюдать в очереди у автомата с едой и кофе*. В то время как иностранцы охарактеризовали учащихся Уральского федерального университета как *красивых и симпатичных молодых людей*.

Признак *курящий* не был частотным в нашей картотеке: только дважды так охарактеризовали студента. Подавляющее большинство респондентов не считают курение типичной чертой учащегося в высшем учебном заведении. Следовательно, основная масса студентов (судя по реакциям) – это спортивные молодые люди, поддерживающие здоровый образ жизни. Однако напрямую эпитетом *здоровый* студент тоже не был назван. По мнению респондентов, *неуверенное, беспокойное* поведение студента, его *волнение за свой диплом и будущее*, необходимость *приспосабливаться* к обстоятельствам не дает ему почувствовать себя полностью здоровым.

Дальняя периферия характеризуется **Эстетической потребностью (4,1%)**. Респонденты в последнюю очередь обращают внимание на одежду студента. При этом, если упоминают, то в половине случаев в контексте корпоративной одежды (*многомодный, на моде, в фирменной кофте Уральского федерального университета и с фирменным значком*).

Нарисуем словесный портрет типичного студента УрФУ при опоре на частотные реакции респондентов. **Студент** – это молодой человек 17–25 лет, *который в зависимости от настроения может прийти на пары в минус 40 или запросто прогулять их в хорошую погоду* (потребность в безопасности). Если он всё-таки придёт, скорее всего, опоздает, *уныло стоя в очереди за кофе и булочкой, чтобы окончательно проснуться* (физическая потребность). На некоторых парах *найдет для себя что-то интересное* (познавательная потребность), на других *будет общаться с друзьями или переписываться в айфоне и ставить лайки в социальных сетях* (потребность в коммуникации). *После обеда жизнь закипит, потому что из блокнота ещё не все дела на сегодня вычеркнуты* (познавательная потребность). *Он не знает наверняка, чего хочет от жизни, но попробует себя во всём* (познавательная потребность).

¹ В современных словарях литературного русского языка слово определяется как разговорная частица со значением «может быть», которая субстантивируется во фразеологизме *на авось* – «в надежде на случайную удачу» (Евгеньева, 1985, с. 21), см. подробнее (Березович, 2004, с. 94–101).

Таким образом, читательская аудитория университетского СМИ считает выделенные качества и потребности основополагающими для типичного студента. Следовательно, речевое воздействие будет эффективным и коммуникация успешной, если корпоративное медиа УрФУ будет учитывать определённые, выявленные потребности студентов при подготовке материалов. Кроме того, учитывая в корпоративном СМИ ценности, которые разделяют студенты, издание может осуществить свои маркетинговые задачи. Если газете будут импонировать, видеть в героях текстов себя, то лояльность к «Уральскому федеральному» также возрастет.

Литература:

- АНТИПЦЕВА, Е. Л. (2014): Концепт «студент» в испанской и русской лингвокультурах. In: *Молодежь и наука: сборник материалов X Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края* [online]. [цитировано: 2017-12-28]. Режим доступа: <http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/18565>
- БЕРЕЗОВИЧ, Е. Л. (2004): Еще раз о русском АВОСЬ (маргиналии в экспедиционном блокноте). In: *Ономастика и диалектная лексика*, вып. 5, с. 94–101.
- БЛЭК, С. (2002): *Паблик рилейинз. Что это такое?* Москва: Новости.
- БУКША, К. (2004): Как СМИ продает само себя. In: *Рынки СМИ. Рекламные идеи*, № 4, с. 66–71.
- ВОРКАЧЕВ, С. Г. (2007): *Любовь как лингвокультурный концепт*. Москва: Гнозис.
- ВЕРШИННИНА, Т. С. – КУНИЛОВА, И. А. (2016): Сопоставительный анализ корпоративных газет российских и зарубежных вузов (на примере газет Уральского федерального университета и Университета Майор). In: *Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры*, Т. 22, № 3 (153), с. 76–84.
- ГОРЧЕВА, А. Ю. (2008): *Корпоративная журналистика*. Москва: Вест-Консалтинг.
- ЕВГЕНЬЕВА, А. П., ed. (1985): *Словарь русского языка*. Москва: Русский язык.
- ЗАГЛЯДКИНА, Т. Я. (2009): Лингвокультурный концепт «студент» в сознании российских и германских студентов (по материалам свободного ассоциативного эксперимента). In: *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*, № 2, с. 27–31.
- КАРАСИК, В. И. (2002): *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. Волгоград: Перемена.
- КАРАСИК, В. И. (2009): *Языковые ключи*. Москва: Гнозис.
- КАРАСИК, В. И. (2010): *Языковая кристаллизация смысла*. Москва: Гнозис.
- КАРАСИК, В. И. – ДМИТРИЕВА, О. А. (2005): Лингвокультурный типаж: к определению термина. In: *Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажы*, с. 5–25.
- КОЛЕСНИЧЕНКО, А. В. (2009): *Зарубежные исследования аудитории прессы*. Москва: Факультет журналистики МГУ.
- Корпоративные медиа в России: вторжение в социальные сети. In: *Исследования АКМР* [online]. [цитировано: 2018-05-15]. Режим доступа: <https://bit.ly/2rKLrEy>
- ЛЕОНТЬЕВ, А. Н. (1947): Психолингвистические вопросы сознательности учения. In: *Изв. Акад. пед. наук РСФСР*, № 7, с. 3–41.
- МУРЗИН, Д. А. (2005): *Феномен корпоративной прессы*. Москва: Издательский дом «Хроникер».
- НОВИКОВА, В. С. (2014). Историко-этимологический анализ имени концепта student. In: *Вестник КемГУ*, № 1 (57), с. 143–145.
- ПОПОВА, З. Д. – СТЕРНИН, И. А. (2007): *Когнитивная лингвистика*. Москва: АСТ: Восток-Запад.
- СУХОМЛИНОВА, В. А. (2013): Концепт «студент» в английской и русской лингвокультурах. In: *Гуманитарные и социальные науки*, № 6, с. 227–235.
- ЧЕМЯКИН, Ю. В. (2012): Проблемы типологического анализа современной корпоративной прессы. In: *Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры*, № 4 (107), с. 100–106.

ХОЛЛ, Р. (2013): *Великолепный маркетинг. Что знают, делают и говорят лучшие маркетологи*. Санкт-Петербург: ИГ «Весь».

Summary

Linguo-cultural Portrait of the Audience of Corporate University Media (Based on the Newspaper «Ural Federal»)

The research is aimed at creating the portrait of a typical Ural Federal University student to clarify the address of the corporate university media. The material used in the research was based on the results of psycholinguistic experiment conveyed by us among the students of Ural Federal University named after the First President of Russia B. Yeltsin. 100 respondents were questioned. They were all asked 3 following questions: 1) A student in Ural Federal University: what's he like? 2) What three traits can you outline in an Ural Federal University student? Please explain your answer. 3) How would you describe a typical Ural Federal University student to your foreign friend? The experiment showed several demands that were classified into nuclear, pre-nuclear, near and far peripheries. The research showed the following needs that students have: belonging to a social group, love and self-expression, needs in education, physical needs, the need for safety and aesthetic needs. The results showed that the readers of Ural Federal University corporate newspaper believe those traits and needs to be the fundamental for a typical student therefore the most successful and effective communication of the corporate media must convey the traits and needs that were discovered during the research.

Познание объективного мира и самопознание: глаголы с семантикой *разрушение предмета* в представлении человека о себе

Ольга Альбертовна Димитриева

НИИ этнопедагогике им. академика РАО Г. Н. Волкова, Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, Чебоксары
olgaal_79@mail.ru

Ключевые слова: концептуализация действия, инхоативные глаголы, категоризация, метафорическое моделирование, языковая картина мира, менталитет

Keywords: conceptualization of action, inchoative verbs, categorization, metaphorical modelling, language worldview, mentality

1 Вводные замечания

«Рассмотрение значения глагола с когнитивных позиций, – пишет А. М. Плотникова, – приводит к мысли о фиксации в нем знаний человека о действиях, процессах, событиях, происходящих в действительности» (Плотникова, 2005, с. 37). Знания человека об окружающем мире приводят его к осмыслению собственного мира в формате внешнего.

Глаголы с семантикой ‘разрушение предмета’, такие как *черстветь*, *киснуть*, *ржаветь*, *плесневеть*, объединены общей идеей деструктивного влияния или воздействия окружающей среды и внутреннего изменения предмета, как правило, непригодного для дальнейшего использования. По классификации А. В. Бондарко, Л. Л. Буланина, такие глаголы относятся к группе глаголов перехода в состояние (к инхоативному способу действия), которые обозначают «постепенный переход в какое-либо состояние», а их видовые корреляты *зачерстветь*, *заплесневеть*, *заржаветь*, *закиснуть* (*скиснуть*, *прокиснуть*) обозначают «осуществившийся, достигший результата переход в состояние» (Бондарко – Буланин, 1967, с. 21). В учебном словаре «Лексико-семантические группы русских глаголов» в основном значении глаголы относятся к подполю *качественное состояние*, к лексико-семантической группе глаголов становления качества (физического качества), базовым глаголом которой является *становиться (каким)* (Матвеева, 1988, с. 69).

Глаголы *черстветь*, *плесневеть*, *киснуть* часто употребляются по отношению к еде и продуктам питания, причем первые два – в разговоре о хлебных изделиях, в словарных дефинициях в первом значении приводятся примеры, характеризующие хлеб (*черстветь*, *плесневеть*), молоко (*киснуть*), глагол *ржаветь* относится к железным механизмам. Глаголы *плесневеть* и *ржаветь* схожи в том, что в своем значении имеют общую сему ‘покрываться’ (в первом случае *плесенью*, во втором – *ржавчиной*) (Ожегов – Шведова, 1997). При переносном (метафорическом) употреблении рассматриваемых глаголов они характеризуют эмоциональную, физическую сферу человека или его личностные качества, иногда используются как синонимический ряд: – *Закисли, заплесневели, эх, вы! как живете?! Надо вас, сонных и ржавых, расшевелить!.. – Смеется* (Маканин, 1999).

Рассмотрим особенности речевого метафорического употребления данных глаголов в нескольких аспектах: во-первых, с точки зрения субъекта действия, далее – пространственные и темпоральные их особенности, которые пересекаются с причинным фактором.

2 Субъект состояния, задаваемого глаголами *черстветь*, *плесневеть*, *киснуть*, *ржаветь*

В высказываниях субъектом состояния может выступать соматизм, который характеризует либо внешние (физиологические), либо внутренние (личностные или эмоциональные) изменения человека.

А. Внешние (физиологические изменения).

Глаголом *черстветь* (*зачерстветь*) могут быть охарактеризованы такие части тела человека, как *руки* (*ладонь*), *горло* (*голос*), *виски* (*голова*), *лицо* и др. При этом признак, как правило, осязаемый, видимый (*руки огрубевшие*, *горло охрипшее*, *виски седые* и т. п.): *У него все горло зачерствело, все пересохло до нутра* (Бакланов, 2001); *Врачиха Евгения Марковна (сама внезапно сдавшая, с какой-то незнакомой неряшливостью в пучочке желтоватой седины) отметила улучшение двигательных функций и казалась при этом очень удивленной. Подрагивая сухонькой головкой, зачерствевшей с висков, заправляя в дырявое ухо вываливающийся наконечник фонендоскопа, врачиха долго слушала больного, потом просила шевелить рукой – и рука Алексея Афанасьевича подпрыгивала неожиданно легко, отчего становилась окончательно похожа на механический протез* (Славникова, 2001); *Лицо ее не просто постарело, оно зачерствело и ссохлось* (Николаева, 1960); *Сидели под копной рядом, руку гладил Арсений зачерствевшей от вил рукою, бодрил улыбкой глаз* (Шолохов, 1956).

Глагол *киснуть* (*закиснуть*) дает характеристику глазам (*закисшие глаза*, *закисли слезы*), голосу (*Говорила она чуть слышно, будто проталкивая слова сквозь закисшее горло* (Солдатенко, 2011); телу (*Она иногда приезжает мыть ребенка, раз в неделю, но уже их нет две недели. Не знаю, может, умерли. Я ей здесь оставляю записочку, чтобы она звонила тебе. Но если Павлик болеет и она там болеет, тогда она еще может и неделю не приехать, ребенок у нее там весь закиснет. А она не купает. Она воды боится как огня с детства* (Петрушевская, 1980).

Глагол *ржаветь* (*заржаветь*) также описывает состояние голосовых связок, мышц, суставов и сосудов: *Но какая пытка мне, болтуну, молчать уже целую неделю абсолютно. Чувствую, что ржавеют какие-то горловые связки. Но и рожки же здесь сидят за табль-д'отом: толстые, седые, злющие, бугристые* (Куприна, 1979); *Неуемная Анька – прабабушка Лео. Набегавшись по делам с раннего утра, к обеду Анька обычно слабела, передвигалась как маятник, с трудом приводя в движение ржавеющие суставы* (Полянская, 1999).

Глагол *плесневеть* эксплицирует, как правило, зону внутренних изменений, происходящих в человеке.

Как видно из примеров, при переносном осмыслении маркируется тот или иной аспект значения, часто выделяются признаки, в явном виде не присутствующие в словарной дефиниции, имеют пресупозиционный энциклопедический характер (глагол *черстветь* «осмысляет» признак ‘жесткий, огрубевший’, *киснуть* – внешние проявления прокисшего продукта ‘запах’, ‘цвет’, *ржаветь* – ‘появление окислов’).

Б. Внутренние (эмоциональные и личностные изменения).

«<...> для каждого из физических и психических проявлений человека, – пишет В. А. Плунгян, – имеется определенный орган, являющийся местом их нормального “пребывания” (и – метафорически – из заменителем)» (Плунгян, 1991, с. 155). Эта особенность локализовать ощущения, эмоции в теле носит универсальный характер, хотя месторасположение тех или иных ощущений, эмоций может варьироваться (Плунгян, 1991; Апресян, 1995, с. 352). Глагол *черстветь* (*зачерстветь*) может иметь при себе субъект, такой как *душа*, *сердце* (в именительном субъекта) или сочетаться с

указанными существительными в творительном падеже, при этом действие, обозначаемое глаголом, указывает на личностные качества человека: *Все люди имеют свои слабости и недостатки, но страшно видеть, как черствеет сердце того, кто Самим Христом призван в величайшую степень священства, кому Господь доверил Свое церковное стадо* (патриарх Алексей II, 2004); *Неделю-две пробудет в строю, в боях и стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным красноармейцем и, оставив ногу, сплевывая в сторону, подражая какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать ломающимся баском...* (Шолохов, 1980); *Стала нелюдимой. За два года, заметила, нервы пошатнулись, душа стала черствеет от «голодного одиночества»* (Шахиджанян, 1999).

Глаголы *ржаветь*, *плесневеть*, *черствеет* могут характеризовать интеллектуальную сферу человека, субъектом состояния выступают слова *мозги*, *ум* и т. п. В таких случаях глаголы становятся близкими по семантике, различия практически нейтрализуются, они могут взаимозаменяться: *Будучи хорошим капитаном, он терпеть не мог выслуживаться перед высшими чинами и знал себе цену. Такому человеку трудно было ужиться в морском ведомстве, где, несмотря на внешний блеск, всякий свежий ум плесневел в рутине. И Лебедев не выдержал – бросил службу во флоте и уехал за границу* (Новиков-Прибой, 1935); *Часы медиаконсультанта Веры Черныш: как не давать мозгу ржаветь, какую работу не заменит искусственный интеллект и почему не нужно бояться «ветра в лицо»* (Усачева, 2017); *А жизнь-то прошла. Теперь, видишь, здоровьем занялся, хочу пожить еще, побольше успеть. У меня сейчас настоящая слава. Хватаю ее ртом и ж..., только поздно: мозги зачерствели*, обозлились. *Ничто уже не радует, пишется через силу* (Прошкин, 2001).

Глагол *киснуть* охватывает человека «целиком», поэтому о какой-либо отдельной его части не говорится.

Выражаемая оценка относится к во все пронизывающему автору или выступает результатом отражения рефлексии говорящего: глагол *черствеет* охватывает сферу этической оценки в случаях характеристики души и сердца, в то время как в остальных примерах задействована сфера утилитарной оценки (возможности дальнейшего употребления).

В. Субъектом-носителем состояния, задаваемым рассматриваемыми глаголами, может быть **продукт / результат человеческой деятельности** (в т. ч. продуктивной, речевой, творческой). В таких высказываниях подчеркивается отсутствие новизны, тривиальность предмета (1). Если предмет имеет событийное наполнение, то отмечается отсутствие развития, дальнейшего продвижения или полное прекращение деятельности (2).

(1) *И тогда даже тот, кто обычно взрывается от мелких подколов сослуживцев, великодушно прощает им самую ехидную шутку, а давно заплесневевший анекдот снова вызывает искренний смех* (Баранец, 1999); *Мы повторно рассказали друг другу основательно зачерствевшие бутырские новости. Потом наступила реакция. Мы внезапно замолчали, углубились в себя, в мысли о вариантах исхода* (Гинзбург, 1990); *Я, конечно, понимала, что не скажу об этом Владу, но не видела никакой измены Владу, больше того, во мне кисла смутная мысль, что моя любовь к этому прекрасному незнакомцу делает еще лучше мою любовь к Владу* (Слаповский, 2009); *Каждый с чердака памяти тащит заржавевший вопрос или какое-нибудь стародавнее воспоминание. Казалось бы, давно забытые и уже непригодные для живой беседы, они-то чаще всего и бывают самыми интересными* (Крышук, 2003).

(2) Как и всё у них, **закисла и травля** против меня, и письмо у Суслова – в той же их немощной неведомой опаре. Движение – никуда. Цепенение. Не сбылась моя затея найти какой-то мирный выход (Солженицын, 1975); Эта система весьма выгодна для посредственности, которая выслуживается терпением. Но эта система не выгодна для людей с личными заслугами, достоинствами и преимуществами. От действия такой системы гибнет **дело**. Оно **плесневеет**, не двигается вперед, впадает в рутину, формализм и внешнюю жизнь. Прогресс и совершенствование здесь невозможны (Ковалевский, 1995).

Что касается глагола **ржавеет**, он также выступает в форме настоящего времени в сочетании с *не* как маркер устойчивости чувств во фразеологизированном выражении *Старая любовь не ржавеет*, причем субъект и его признак могут варьироваться (*первая любовь, старая дружба, правда* и т. д.): *Но во все времена твердите о Культуре. Не нам судить, куда упадут добрые зерна. Добро не ржавеет*. Сказал Виктор Гюго: «Кто открывает школу, тот закрывает тюрьму» (Рерих, 1996).

Г. Субъект состояния – человек.

Интересны примеры, в которых рассматриваемые глаголы (несовершенного вида) участвуют в осмыслении человеческого опыта, субъект (или его часть) в таких случаях имеет генерализованный (типический) характер. Такие высказывания являются размышлениями автора, который соотносит текущую ситуацию с предыдущим опытом, оценивая его: *Говорят, с годами человек черствеет. Не всегда* (Кожевникова, 2003); *Засыхают люди, черствеют* в нужде, в борьбе за кусок. И не упрекнешь. Но зато на многое открыв[аются] глаза. О, волчье порождение, человек! (Шмелев, 2000): *И разумеется, я понимаю, что в каждом живет тот самый сильный волевой и всемогущий человек, готовый все изменить в лучшую сторону. Поэтому вы говорите, что вы не заржавели. Но вы должны понять, что пока вы бездействуете, вы так и будете продолжать ржаветь*, так и будете этим рабом своих привычек. И когда-нибудь это ржавчина возьмет верх над вашим разумом, и вы смиритесь с тем, что вы пока еще ходячий кусок ржавого, ни на что не способного тела (Весь мир прогнул).

Глагол **киснуть** часто описывает эмоциональную сферу человека, отношение к деятельности, степень активности: *Вот как описывает это событие сам пострадавший: «...Приехал Ф. С. Колмогоров и начал прямо с пословицы: „Капитал потерял – половину потерял, веру в себя потерял – всё потерял. Что вы киснете и сидите дома без сна и пищи? Посмотрите на себя, на что вы стали похожи. Ну, потерял деньги, что же делать – работай и наживай их опять. Нужны средства?...»* (Колмогоров, 2013).

Глаголы совершенного вида с семантикой ‘осуществление перехода в состояние, достижение результата’ чаще используются в значении констатации факта в форме прошедшего времени или несут значение предположительности, прогнозирования результата действия в форме будущего времени (в сочетании с отрицательной частицей *не* имеет превентивное значение): *Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести»* (Тэффи, 1990); *До последней точки докатилась людская неблагодарность. Вчера, извольте видеть, за мою жалость к ближнему человеку отчаянно пострадал и, может, даже предстану перед народным судом в ближайшем будущем. Баста. Зачерствело мое сердце. Пуцай ближние больше на меня не рассчитывают* (Зощенко, 1981); – *Я готов, господа, я сию минуту. Спасибо вам, Антон Петрович, за хорошую мысль... В самом деле, надо освежиться, проветриться. Ведь так и вправду закиснешь, заплеснееешь, отупеешь вконец. Эка важность – доклады, рефераты! Подождут ведь! Правда, Антон Петрович?* (Потапенко, 1982); *Среди этого ужаса надо сердце иметь, и не*

огрубить, не зачерстветь, формальных знаний мало, надо душу живую иметь (Зуров, 2005).

Итак, субъектом состояния, задаваемого одним из данных глаголов, может быть как человек в целом, так и его часть. В таких высказываниях метафорически осмысливаются как внутренние качества человека, интеллектуальная и личностная сферы, так и физиологические изменения (видимые и внутренние).

3 Пространственные и темпоральные характеристики

Пространственные и темпоральные характеристики при рассматриваемых глаголах часто имеют причинно-обусловленный характер.

С одной стороны, пространство характеризуется замкнутостью, ограниченностью и рамками самого помещения, места пребывания (например, при глаголе *киснуть* (*закиснуть*) подробнее см. (Димитриева, 2017)): – *Тут карьера, московская прописка, комнату получишь, диссертацию защитишь. В провинции – закиснешь!* (Амосов, 1999); *Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь: будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу разэтакое...* (Астафьев, 1982). В некоторых случаях указывается название города, страны (в Израиле, в Париже, в Москве и т. д.): «*Ну вот, старик, ты и приехал, вот и молоток! – кричал он. – Сейчас я тебе все наше покажу, живое! Обалдеешь, если не зачерствел душой в своем Израиле!*» Обнимая и подталкивая пузом, он загонял меня в свой кабинет (Аксенов, 1996).

С другой стороны, пространство приравнивается к негативным событиям, повлиявшим на человека и изменившим его в той или иной степени: *Как черствеют души на войне*, думал я. *Война калечит человека* (Максимов, 2010); *Если в каторге не зачерствела его душа, если он среди невыносимых физических и нравственных мук мог сохранить в себе такую отзывчивость ко всему человеческому – значит, таились в нем великие силы!* (Шестов, 1903). Пространство расширяется до окружающего человека мира, до того, чем наполнена его личная сфера. Для данных глаголов часто указывается либо избыточность негативных событий, либо отсутствие таковых, рутинное существование, причем для глагола *черстветь* (в некоторых высказываниях и для *ржаветь*) характерно первое, а для *плесневеть* и *киснуть* – второе: – *Я слышал, что вы уезжаете? – вдруг спросил он, задумчиво глядя в пол. <...> – Да, собираюсь... Надо бы отдохнуть, проветриться... знаете... Заплесневеешь на одном месте!* (Арцыбашев, 1994); *Смотрел на тебя и думал: как сумел этот похожий на бандита молодой парень, несмотря на годы жестоких испытаний в сталинских тюрьмах и лагерях, и здесь, в этой штрафной «преисподней», сохранить не только жизнь, но и себя как человека, остаться цельным, уберечь свое сердце от черствости, не дать ему заржаветь в постоянной борьбе за физическое существование на земле?!* (Жженов, 2002).

Что касается временных показателей, то глагол *черстветь* часто задает вектор временного осмысления ситуации (в ходе жизни, с годами, в процессе истории, в этот короткий срок, с детства и т. д.): *На самом деле в процессе истории человек сильно черствеет. Можно ли себе представить, что всего сто с небольшим лет назад на всю Россию был всего один палач? Второго, согласного казнить людей, не находилось* (Войнович, 2000).

Глаголы *черстветь*, *плесневеть*, *киснуть*, *ржаветь* в сочетании с фазово-временной связкой (*начать*) указывают на начальный период осуществления действия: *Что степь, как и вообще природу, Кольцов горячо любил и прибегал к ней как к верному другу не только юношей, душа которого отзывчивее ко всем впечатлениям, но и тогда, когда уже жизнь значительно его потрепала, когда энтузиазм заглох, и сердце*

начинало черстветь, – это доказывается позднейшими письмами поэта к Белинскому...(Огарков, 1891).

4 Вывод

В ситуациях, обозначаемых рассматриваемыми глаголами, на первый план выступает субъект (или его часть) и постепенно приобретаемое им новое состояние (физиологические, психические или эмоциональные изменения), а также указываются причина и/или пространственные и темпоральные характеристики. Развивая концептуальную артефактную метафору ЧЕЛОВЕК – ПРЕДМЕТ, названные глаголы маркируют приобретаемое человеком свойство, которое может быть вызвано избытком или недостатком каких-либо переживаний, а также осмыслением текущей ситуации.

«Познание действительности, – пишет Е. С. Кубрякова, – начинается с того, что мы ее чувственно воспринимаем. В процессе восприятия первичная категоризация заключается не только в объединении ощущений из разных ментальностей в единый гештальт, но и в суждениях об идентичности или сходстве таких гештальтов по определенным показателям» (Кубрякова, 2004, с. 250). На основе такого сходства происходит проецирование состояния предмета из окружающего мира во внутренний мир. Окружающая среда для предмета является разрушительным фактором. Это знание переносится и на человека, его деятельность и ее результат.

Литература:

- АКСЕНОВ, В. (1996): *Негатив положительного героя*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- АМОСОВ, Н. (1999): *Голоса времен*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- АПРЕСЯН, Ю. Д. (1995): *Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография*. Москва: Школа «Языки русской культуры».
- АРЦЫБАШЕВ, М. П. (1994): *Санин*. Москва: Терра. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- АСТАФЬЕВ, В. П. (1982): *Царь-рыба: Повествование в рассказах*. Москва: Современник. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- БАКЛАНОВ, Г. Я. (2001): Нездешний. In: *Знамя*, №1. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://magazines.russ.ru/znamia/2001/1/baklan.html>>
- БАРАНЕЦ, В (1999): *Гени таб без тайн*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- БОНДАРКО, А. В. – БУЛАНИН, Л. Л. (1967): *Русский глагол*. Ленинград: Просвещение, Ленинградское отделение.
- Весь мир прогнул [Цит. 2017-09-01.]
Режим доступа: <http://love.gde.ru/ru/diary/post.phtml?user_id=734488757&post_id=89&hit=8>
- ВОЙНОВИЧ, В. (2000): Монументальная пропаганда In: *Знамя*, №2-3. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- ГИНЗБУРГ, Е. (1990): *Крутой маршрут*. Москва: Советский писатель. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- ДИМИТРИЕВА, О. А. (2017): Глагол перехода в состояние *закиснуть* в русской языковой картине мира. In: *Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии: норма и вариант*. Симферополь: ИТ «Ариал», с. 76–82.
- ЖЖЕНОВ, Г. (2002): *Прожитое*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- ЗОЩЕНКО, М. М. (1981): *Опальные рассказы*. Санкт-Петербург: Три богатыря. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <http://lib.ru/RUSSLIT/ZOSHENKO/opala.txt>

- ЗУРОВ, Л. Ф. (2005): Иван-да-марья In: *Звезда*, №8. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://magazines.russ.ru/zvezda/2005/8>>
- КОВАЛЕВСКИЙ, П. И. (1995): *Психиатрические эскизы и истории*. Москва: Терра. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- КОЖЕВНИКОВА, К. (2003): У парадного подъезда. In: *Вестник США*, 23. 7. 2003. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.vestnik.com/issues/2003/0723/win>>
- КОЛМОГОРОВ, А. Г. (2013): *Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмановой*. Москва: Аграф. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://profilib.com/chtenie/156722/aleksandr-kolmogorov-mne-dostavsheesya-semeynye-khroniki-nadezhdy-lukhmanovoy.php>>
- КРЫЩУК, Н. (2003): Отступление. In: *Звезда*, №6. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/6>>
- КУБРЯКОВА, Е. С. (2004): *Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира*. Москва: Языки славянской культуры.
- КУПРИНА, К. А. (1979): *Куприн – мой отец*. Москва: Художественная литература. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- МАКАНИН, В. (1999). *Андеграунд, или герой нашего времени*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- МАКСИМОВ, И. П. (2010): Январская карусель (Из фронтового дневника). In: *Бельские просторы*, №8. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- МАТВЕЕВА, Т. В. (ред.) (1988): *Лексико-семантические группы русских глаголов*. Свердловск: Издательство Уральского университета.
- НИКОЛАЕВА, Г. Е. (1960): *Битва в пути*. Москва: Советский писатель. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- НОВИКОВ-ПРИБОЙ, А. С. (1935): *Цусима*. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<https://www.litmir.me/br/?b=20979&p=1>>
- ОГАРКОВ, В. В. (1891): Алексей Кольцов. Его жизнь и литературная деятельность [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <http://az.lib.ru/o/ogarkow_w_w/text_0020.shtml>
- ОЖЕГОВ, С. И. – ШВЕДОВА, Н. Ю. (1997): *Толковый словарь русского языка*. Москва: Азбуковник.
- ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II (2004): Ежегодное епархиальное собрание города Москвы. In: *Журнал Московской патриархии*, №2. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- ПЕТРУШЕВСКАЯ, Л. С. (1989): *Три девушки в голубом*. Москва: Искусство. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <http://www.imwerden.info/belousenko/books/Petrushevskaya/petrushevskaya_kolombina>
- ПЛОТНИКОВА, А. М. (2005): *Когнитивные аспекты изучения семантики (на материале русских глаголов)*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета.
- ПОТАПЕНКО, И. Н. (1982): Секретарь Его Превосходительства. In: *Писатели чеховской поры: Избранные произведения писателей 80-90-х годов*. Москва: Художественная литература. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- ПЛУНГЯН, В. А. (1991): К описанию африканской «наивной картины мира» (локализация ощущений и понимание в языке догон). In: *Логический анализ языка. Культурные концепты*. Москва: Наука, с. 155–160.
- ПОЛЯНСКАЯ, И. (1999): *Прохождение тени*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- ПРОШКИН, Е. (2001): *Механика вечности*. Москва: Эксмо. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- РЕРИХ, Н. К. (1996): *Листы дневника*. Москва: Международный центр Рерихов. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>
- СЛАВНИКОВА, О. (2001): Бессмертный. Повесть о настоящем человеке. In: *Октябрь*, №6. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://magazines.russ.ru/october/2001/6/sl.html>>
- СОЛДАТЕНКО, В. (2011): *Ева*. Москва: АСТ. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpora.ru>>

- СОЛЖЕНИЦЫН, А. И. (1975): *Бодался теленок с дубом: очерки литературной жизни*. Париж: YMCA-PRESS. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpore.ru>>
- СЛАПОВСКИЙ, А. (2009): 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну. In: *Волга*, №1-2. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://magazines.russ.ru/volga/2009/1/sl3.html>>
- ТЭФФИ, Н. А. (1990): *Юмористические рассказы. Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»»*. Москва: Художественная литература. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpore.ru>>
- УСАЧЕВА, О. (2017): Часы медиаконсультанта Веры Черныш. In: *The point: онлайн-журнал* [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<https://thepoint.rabota.ua/chasy-medya-konsultanta-very-chernysh-kak-ne-davat-mozhu-rzhavet-kakuyu-rabotu-ne-zamenyt-yskusstvennyy-yntellekt-y-pochemu-ne-nuzhno-boyatsya-vetra-v-lytso>>
- ШАХИДЖАНИЯ, В. (1999): *1001 вопрос про ЭТО*. Москва: Вагриус. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpore.ru>>
- ШЕСТОВ, Л. И. (1903): *Достоевский и Ницше*. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.vehi.net/shestov/nitshe.xhtml>>
- ШМЕЛЕВ, И. С. (2000): *Солнце мертвых*. Москва: Согласие. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpore.ru>>
- ШОЛОХОВ, М. А. (1956): Двухмужняя. In: *Собрание сочинений в 8 томах*, Т. 1. Москва: ГИХЛ. [Цит. 2017-12-10.]
- Режим доступа: <<http://feb-web.ru/feb/sholokh/default.asp?feb/sholokh/texts/sh0/sh0.html>>
- ШОЛОХОВ, М. А. (1980): *Тихий Дон*. Москва: Молодая гвардия. [Цит. 2017-12-10.] Режим доступа: <<http://www.ruscorpore.ru>>

Summary

Cognition of the Objective World and Self-knowledge: Verbs with Semantics ‘the Destruction of the Subject’ in the View of the Person about Himself

The article deals with metaphorical usage of the Russian verbs with semantics ‘the destruction of the subject’ such as *cherstvet* (‘get stale’), *plesnevet* (‘grow mouldy’), *kisnut* (‘turn sour’), *rzhavet* (‘become rusty’) and their aspectual pairs. Changes in the inner world of man are understood as changes that occur with objects in the outside world. The process of transforming the state of the object corresponds with the human life. Material for the study consists of examples from contemporary literary and media texts from the National corpus of the Russian language.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (проект №27.9712.2017/БЧ «Полиэтническая образовательная среда современного вуза: проблемы многоязычия и межкультурной коммуникации»).

Kultúrne aspekty v slovenských pomenovaniach farieb

Katarína Dudová

Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

kdudova@ukf.sk

Kľúčové slová: lexikalizačné vzory, mená farieb, sémantické kategórie

Keywords: colour names, lexicalization patterns, semantic categories

Úvod

Rozmanitosť a špecifickosť farebného sveta priťahuje pozornosť človeka od nepamäti a je preto celkom prirodzené, že je predmetom záujmu i oblasťou prieniku viacerých vedných disciplín (biológie, fytológie, zoológie, ontológie, kultúrnej antropológie, umenovedy a iných). V predkladanej štúdii vychádzame z lingvistickej perspektívy a z názoru Wittgensteina (2002), podľa ktorého sa človek oboznamuje s jednotlivými farbami na základe toho, že sa naučí označovať menami svoje skúsenosti s nimi, t. j. spájať vnem nejakej farby s jej menom. Preto pozornosť upriamuje na to, akými názvami farieb disponuje jazyk na to, aby mohol jeho používateľ zachytiť širokú paletu svojich vizuálnych skúseností. Keďže často nejde o identickú vizuálnu skúsenosť, systém pomenovaní farieb v každom jazyku je podmienený kultúrno-historickými faktormi pomenovávania farieb, no i štruktúrnymi charakteristikami jazyka.

Cieľom nášho výskumu je na pozadí vývinu skoršieho systému kategórií odkryť v štruktúre súčasného slovenského jazyka také slovotvorné spôsoby a ďalšie gramatické (napr. syntaktické) a sémantické (napr. metafora) vzory, ktoré sa zúčastňujú na tvorení slovenských názvov farieb. Pre všetky tieto vzory používame súhrnný názov lexikalizačný vzor, ktorý sa podieľa na tvorení rôznych sémantických kategórií. Nie všetky lexikalizačné vzory a sémantické kategórie sú pri členení farebného spektra v slovenčine rovnako produktívne, a preto sa ďalej zameriame na ich produktivitu, ako aj na dominantné a periférne typy významov, ktoré majú najmä v prípade sémantických vzorov kultúrne opodstatnenie.

1 Metodologické východiská

Predmetom nášho bádania bol slovenský materiál získaný zo štvorročného výskumu, ktorý sme realizovali v rámci projektu EOSS (Evolution of Semantic Systems, 2011 – 2014, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)¹ so zameraním na významové zmeny v priestore a čase.

Prostredníctvom materiálneho vybavenia a štandardizovaného postupu (Majid et al., 2011) mala skupina externe spolupracujúcich vedcov z rôznych európskych a ázijských krajín úlohu zozbierať v rámci svojho jazyka údaje od 20 respondentov a následne ich vyhodnotiť. Takto boli zhromaždené údaje z viac ako 50 indoeurópskych jazykov, ďalej podrobené komparatívne výskumu a zverejnené pre širšiu verejnosť. Na jednotnej metodologickej báze² zozbierané a spracované údaje sa dotýkali štyroch odlišných druhov kategórií: nádob

¹ Viac na domovskej stránke projektu: <<http://www.mpi.nl/departments/other-research/research-consortia/eoss>>

² V projekte sa uplatnili fylogenetické metódy (zahŕňajúce analytické postupy vyvinuté v evolučnej biológii), ktoré slúžili na pochopenie evolučnej dynamiky sémantických zmien. Tieto metódy umožnili priamo sa zaoberať podobnosťami zapríčinenými minulosťou a geografiou, ale najmä sledovať tendencie k zmenám, rekonštruovať pôvodné významy a vysvetliť závislosti medzi slovami a konceptmi. Takto projekt spája lingvistiku, evolučnú antropológiu a kognitívnu vedu do syntézy.

(druhov objektov), častí tela (častí objektov), priestorových vzťahov (ako sa objekty vzťahujú k iným objektom), ale aj farieb (vlastností objektov).

Naša participácia na projekte spočívala v zhromaždení údajov od slovenských respondentov, ktoré sa dotýkali všetkých spomínaných kategórií. No iba vlastnosti objektov (t. j. farby) sa stali predmetnou bázou nášho výskumu lexikalizačných vzorov v pomenovaní farieb, ktoré sme skúmali v súčasnej slovenčine. Jedným zo základných cieľov projektu bolo zistiť, aké názvy farieb hovoriaci používajú pri členení farebného spektra. Dvadsiatich dospelých slovenských respondentov (10 mužov a 10 žien vo veku od 19 do 29 rokov) sme sa pýtali na mená farieb zoradených podľa Munsellovej farebnej škály (Majid – Levinson, 2007). Výskumným materiálom bolo 84 šedých rámčekov (kartičiek) s presným číselným poradím, na ktorých boli jednotlivo nalepené farebné vzorky. Všetky farebné kartičky boli presne zoradené a postupne ukazované každému participantovi, ktorý mal pri jednotlivých kartičkách odpovedať na otázku: „Aká je toto farba?“. Respondent mal vo svojom materinskom jazyku (v slovenčine) povedať prvú farbu, ktorá mu prišla na um pri pohľade na konkrétnu kartičku s farebnou vzorkou, nemal používať dlhé opisy farieb. Všetky odpovede každého respondenta sme zvukovo nahrávali a následne prepisovali do kódovacích háčkov, ktoré boli centrálné spracované pre všetky jazyky zapojené do komparatívneho výskumu EOSS.

Empirické výsledky získané v rámci slovenského jazyka sa stali podkladom pre ďalší výskum, ktorý predkladáme v tejto štúdii. Vychádzame z faktu, že názvy farieb predstavujú jeden z mnohých mikrosystémov v súčasnej lexikálnej sémantike, ktorá si pri ich výskume pomáha istou klasifikáciou systému, a tak sprehládňuje zložité vzťahy vnútri lexikálnej zásoby. Najbližšia je nám wittgensteinovská teória kategorizácie, ktorá je založená na asociačných vzťahoch medzi objektmi a je oporou prototypovej koncepcie rozvíjanej v psychológii na podklade empirických výskumov zameriavajúcich sa na hľadanie odpovede na otázku, ako vyzerajú mentálne reprezentácie kategórií spätých s pomenovaniami farieb.

2 Stav problematiky

2.1 Otázka vplyvu kultúry na diferenciáciu farebného spektra

Farba je prirodzenou súčasťou vnímania sveta subjektom, ktorý je schopný farebnosť svojho okolia pozorovať už takmer od narodenia. To, že farby patria medzi najzákladnejšie perцепčné kvality človeka, poukazuje na to, že ich zrakové vnímanie je biologicky determinované. Podstatnejší je však fakt, že vnímanie farieb je podmienené aj nebiologickými, resp. kultúrnymi faktormi (Démuth, 2005, s. 133), ktoré neovplyvňujú iba postoje k jednotlivým farbám či spojenie s určitými emóciami (Dornet al., 2016, s. 237–243)³ alebo sémantickú šírku lexémy pomenovávajúcej farbu v jazykovom obraze sveta (Vaňková, 2003, s. 69–99, Tokarski, 1995, Waszakowa, 2000, 59–72, Gallo–Alefirenko, 2007 a i.), ale tiež celkové členenie farebného priestoru, klasifikáciu farieb uloženú v gramaticko-sémantických štruktúrach jazyka. Tieto výskumy vniesli niektoré podnety do oblasti výskumu kultúrnej determinácie na špecifické členenie farebného spektra, ktoré sa realizuje v jednotlivých jazykoch s vlastnou lexikou a sémanticko-gramatickou štruktúrou. V slovenskej lingvistike sa výskum pomenovaní farieb upriamil na chromatické lexémy, na čo osobitým spôsobom upozornila prvá monografická práca Jozefa Škultétyho *Kapitoly z chromatickej terminológie slovenčiny a románskych jazykov* (1979), kde autor komparatívne objasňuje problematiku „sémantického (pojmového) poľa farieb“ v slovenčine a v štyroch románskych jazykoch (vo francúzštine, španielčine, taliančine a rumunčine).

³ Na báze European Network of Lexicography (www.elexicography.eu) priniesli autori zistenia, v ktorých napríklad poukazujú na korene spojenia červenej farby s emóciou hnevu v odlišných európskych jazykoch a tiež v ruštine.

Problematika názvov farieb priniesla dosiaľ niekoľko viac či menej rozdielnych pohľadov a prístupov, ktoré sa postupne vyvíjali až od druhej polovice 19. storočia (v období staroveku, za čias Aristotela a Theofrasta, sa farba interpretovala iba ako kategória stanovená prírodou, existoval iba uzavretý a nemenný súbor farieb), no až priekopnícka práca B. Berlina a P. Kaya *Basic color terms. Their Universality and Evolution* (1969) priniesla dôležitejšie zistenia. Autori na báze porovnávania názvov farieb v 98 jazykoch či dialektoch odkryli univerzálny inventár farieb, ktorý je rôznorodo v jednotlivých kultúrach konceptualizovaný a je zoradený do siedmich etáp odrážajúcich evolučný stupeň kultúry, ktorú daný jazyk zastupuje. Tieto výskumy odštartovali diskusiu, ktorá dodnes prebieha medzi názormi relativistov a na druhej strane univerzalistov. Podľa univerzalistov farebné kategórie sú organizované okolo farebných ohnísk, resp. farebný priestor je organizovaný okolo šiestich základných univerzálnych farieb (čierna, biela, červená, zelená, žltá a modrá), ku ktorým ľahko nachádzame prototypy⁴ a ktoré sa vo všetkých jazykoch nachádzajú pri členení farebného priestoru v podobných pozíciách (Berlin – Kay, 1969). Na druhej strane relativisti tvrdia, že na diferencovanie farebného spektra má vplyv jazyková konvencia, ktorá sa vo veľkej miere odlišuje v rôznych jazykoch (Roberson et al., 2000, s. 369–398; Lucy, 1997, s. 320–346).

Okrem týchto opozitných prístupov existuje aj tretí názor (Jameson – D'Andrade, 1997, s. 295–319), podľa ktorého pomenovanie farieb v jednotlivých jazykoch je čiastočne určované všeobecnými princípmi kategorizácie, no je tu i jazyková konvencia, ktorá môže spôsobiť nepravidelnosti v optimálne tvarovanom farebnom priestore. Tieto perceptuálne obmedzenia spôsobujú, že na rozdiel od univerzálnych farieb existuje potenciálne neohraničený repertoár ohnísk, to znamená, že každá farba je do určitej miery ohnisková (hoci niektoré viac a iné menej) (Regier et al., 2007, s. 1436–1441).

Okrem toho na tvarovaní farebného priestoru odrážajúcom sa v pomenovaní farieb sa vo veľkej miere podieľa vývin skoršieho systému kategórií v konkrétnom jazyku. Potvrdzuje to i názor psychologičky Christine Ladd-Franklinovej (1929), podľa ktorej celkový proces vnímania farieb je do veľkej miery ovplyvnený najmä evolučným vývojom. Práve vývinové osobitosti systému pomenovaní farieb v jazyku ukazujú, že zistenia Berlina a Kaya dotýkajúce sa univerzálného inventára farieb nemožno prehliadnuť, ba naopak, treba ich pokladať za významné, no nejde o konečné výsledky, pretože diferenciácia farebného spektra je vo veľkej miere determinovaná aj kultúrou a jej jazykovou konvenciou.

2.2 Vývinové osobitosti systému pomenovaní farieb v slovenčine

Systém pomenovaní farieb patriaci jazyku má svoju históriu – vyvinul sa z nenáhodného stavu, zo skoršieho systému kategórií. Rovnako i lexikalizačné vzory typické pre mená farieb v určitom jazyku možno lepšie pochopiť v kontexte evolučnej dynamiky sémantických zmien⁵. Ak vychádzame z názorov Berlina a Kaya (1969), každá spoločnosť člení farebné spektrum aspoň na dve základné časti, na bielu farbu s priradenými svetlými farbami a čiernu farbu s tmavými farbami. Čím je kultúra vyspelejšia, tým sa v jazyku

⁴Pod prototypom rozumieme typický (prototypový) predmet, teda preferovaný psychický obraz danej entity (Dolník, 2010, s. 46), ktorý reprezentuje komplex príznakov tvoriacich lexikálny význam. Ivanová uvádza, že frekvencia sa považuje za rozhodujúcu silu kategorizácie, podľa ktorej definujeme najviac charakteristický centrálny člen (prototyp*) kategórie A a s týmto prototypom viac alebo menej podobný člen *a*, ktorý na základe podobnosti *a* a **a* je tiež členom kategórie A (Ivanová, 2013, s. 85–86). Prototyp je teda najtypickejší predstaviteľ, najlepší a ideálny príklad určitej kategórie, ktorý má všetky dôležité vlastnosti v ideálnej miere. Prototypy vo veľkej miere utvárajú a konštituujú konotácie, ktoré sú intersubjektívnou záležitosťou uloženou v materinskom jazyku a v jednotlivých jeho elementoch.

⁵Je to jeden z postulátov fylogenetickej metódy uplatnej v našom výskume realizovanom v rámci projektu EOSS.

diferencuje viac farieb. Etymologické slovníky (Králík, 2015; Machek, 1968) nám túto skutočnosť vo veľkej miere potvrdzujú aj v slovenčine.

Odvodeniny farieb *čierny* a *biely*, ktoré Berlin a Kay zaraďujú do 1. etapy vývoja kultúry, sú najstaršie, t. j. písomne doložené už od 12. storočia, ale samotné názvy farieb existovali a používali sa ešte skôr (*12. storočia). V prasloviančine mali tieto farby podobu *čьrnъ, *bělъ (*bhēlo-), z ktorej sa derivovali ďalšie lexikálne jednotky, napr. *čierňava*, *čerň*, *černica*; *beľmo*, *belieť sa*, *bieliť*, *bielok*, *bielko* a pod. (Králík, 2015, s. 69, 104). O tri storočia neskôr je známe pomenovanie farby *červený* (od *15. storočia), ktoré patrí do 2. evolučného štádia a je odvodené zo starého príchastia od nedoloženého slovesa *červiti (prasloviansky *čьrviti, teda *farbiť červom* – získavať červené farbivo zo zvláštneho druhu hmyzu, červce) (Králík, 2015, s. 103, Machek, 1968, s. 99), ako aj *zelený* (od *15. storočia) z príchastia *zel-ti ‘zelenieť sa’ (Králík, 2015, s. 684), ktoré Berlin a Kay zaraďujú do 3. vývojovej etapy.

Ďalšie pomenovania farieb, ktoré podľa Berlina a Kaya predstavujú 4. – 7. evolučný stupeň, sú písomne doložené až od 17. storočia. *Žltý* (od *17. storočia) z psl. *žlтъ* pochádza z indoeurópskeho výrazu *ǵhel- s významom *lesknúť sa* (Králík, 2015, s. 698). Výklad pôvodu pomenovania *modrý* (od 17. storočia), prasloviansky *modrъ nie je jednotný: a) môže byť z indoeurópskeho *mad- s významom *mokrý, stekať, kvapkať* (staroindický *mádati* ‘kypí, vyviera’; grécky *mádaō* ‘som vlhký, premočený, nasiaknutý’; latinsky *madēre* ‘byť vlhký, morký’); b) ide o súvis s anglickým *madder* – *farbiarska morena* (Králík, 2015, s. 365). Praslovianske *gnědъ, teda *hnedý* (od 17. storočia), súvisí s praslovanským slovesom *gnětiti ‘rozpaľovať’ a s významovým posunom ‘páliť’ > *hnedý* (Králík, 2015, s. 200). Praslovanský pôvod (*sivъ, *šědъ) majú pomenovania *sivý/šedý*, ktoré pochádzajú zo spoločného indoeurópskeho označenia rôznych, najmä tmavších odtieňov, čo sa rozšírilo o indoeurópske *kie-, *ki- ‘tmavosivý’ (Králík, 2015, s. 532, s. 576). V Historickom slovníku slovenského jazyka V. (2000) sa uvádzajú príklady z 2. polovice 17. storočia: *sseda sukne* (1656); *krawaotelena Hwezdulaszeda* (1663); *černa ma pod sebu tyto stupne: brnawu, nacyernu, ssaru, pričadlu, ssedunebhlinkowastu* (1666).

Pri nasledujúcich pomenovaniach farieb (*fialový, ružový, oranžový*), ktoré Berlin a Kay zaraďujú tiež do 7. etapy, sa už praslovanský pôvod nerekonštruoval a ide o vývojovo neskoršie deriváty zo substantív pomenovávajúcich entity *ruža* (od 16. storočia), *pomaranč* – z francúzskeho *orange* ‘pomaranč’ (od *17. storočia), *fialka* (od 19. storočia). Všetky dosiaľ spomínané farby (*biel-y, čiern-y, červen-ý, zelen-ý, žlt-ý, modr-ý, hned-ý, siv-ý/šed-ý, fial-ový, ruž-ový, oranž-ový*), ktoré sú v Berlinovej a Kayovej teórii považované za univerzálne (ohniskové) farby, sa ukázali aj v našom výskume⁶ ako základné farby, čo potvrdzujú aj zistenia J. Škultétyho, ktorý tieto farby označuje ako prvotné chromatické adjektíva (t. j. významovo nepriezračné, nemotivované) (Škultéty, 1979, s. 7–25)⁷. No farby objavujúce sa v 7. etape vývoja majú dva odlišné slovotvorné formanty, -ý (primárne akostné adjektívum *sivý*) a -ový (vzťahové adjektíva odvodené od substantív: *fialový, ružový, oranžový*), ktorý prezrádza iný ako praslovanský pôvod. Do inventára základných farieb boli vo výskume EOSS pre slovenský jazyk pridané tiež farby *tyrkysový, béžový*, ktoré majú neslovanský pôvod, resp. sú výpožičkami z neslovanských jazykov.

⁶ Vo výskume sme získali zoznam základných mien farieb v slovenčine týmto spôsobom: od piatich ľudí (nie participantov vo výskume), pre ktorých je slovenčina materinským jazykom, sme požadovali zoznam farieb s nasledujúcou inštrukciou: „Prosím, napíš/povedz zoznam všetkých farieb, ktoré ti prídu na um, v poradí, v ktorom ti prídu na um a čo najrýchlejšie – máš na to dve minúty.“ Všetky tieto údaje boli centrálné spracované v EOSS centrálne podľa frekvenčných kritérií a porovnávania pozície v zozname každého opýtaného.

⁷ Druhotné adjektíva J. Škultéty klasifikuje podľa spôsobu tvorenia slovotvornými prostriedkami (sufixmi a kompozíciou) i z hľadiska tzv. sémantického tvorenia (Škultéty, 1979, s. 7–25).

Ukazuje sa, že slovotvorná prípona môže byť v synchronnej podobe jazyka relevantným indikátorom odkazujúcim na pôvod pomenovania farby i na diferenciáciu farebného spektra v diachrónnom aspekte. *Tyrkysová* je derivátom z nemeckého *Türkis* prevzatého z francúzskeho *turquoise* 'turecký kameň' (Králík, 2015, s. 637); *běžová* pochádza z francúzskeho *beige*, nejasného pôvodu (Králík, 2015, s. 68). Podobne je to však aj pri ďalších derivátoch: *lilavá* je výpožička z francúzskeho *lilas/lilac* prostredníctvom nemeckého *lila* (Králík, 2015, s. 328); *bordová* pochádza z francúzskeho *Bordeaux* 'majúci farbu vína bordeaux' (z oblasti mesta Bordeaux v juhozápadnom Francúzsku) (Králík, 2015, s. 77), *purpurová* je odvodená z latinského *purpura* prevzatého z gréckeho *porfyrā* (Králík, 2015, s. 484).

Väčšina pomenovaní farieb sa v súčasnej slovenčine uplatňuje ako prídavné mená, no máme aj chromatické substantíva utvorené príponou *-osť*: *belosť/bielosť*, *čiernosť*, *sivosť/šedosť*, *modrosť/belasť*, *hnedosť*, *červenosť*, *zelenosť*. Niektoré z týchto pomenovaní sa s menšou mierou produktivity⁸ používajú v pôvodnej nesklonnej podobe bez sufixu, tzv. flektivizačného formantu (Furdík, 2004, s. 42–43): *lilavá/lila*, *bordová/bordó*⁹, *purpurová/purpur*¹⁰, inokedy majú synonymný domáci ekvivalent vyjadrený kompozitom (*bordová* – tmavočervená, vínovočervená; *purpurová* – sýtočervená, *lilavá* – svetlofialová, ale aj *tyrkysová* – modrozelená; *běžová* – žltohnedá), ktorý prostredníctvom sufixu naznačuje úsilie o nadväznosť na vývojovo staršie pomenovania farieb s praslovanskými koreňmi.

Rôznorodosť jazykových konštrukcií, ktoré sa podieľajú na členení a diferencovaní farebného spektra, je kultúrne zakorenená a odrážajú sa v nej vývojové špecifiká jazyka. Jednotlivé jazyky disponujú pri pomenovávaní farieb rozličnými vzormi lexikálnej, sémantickej i gramatickej povahy, ktoré sa zúčastňujú na tvorení špecifických významových kategórií. Naším cieľom je identifikovať tieto vzory i významy v slovenčine a poukázať na to, ako sa správajú pri členení farebného priestoru.

3 Lexikalizačné vzory v pomenovávaní farieb

3.1 Základné významy vyjadrené prostredníctvom derivácie a kompozície

Termín lexikalizačný vzor¹¹ zahŕňa slovotvorné spôsoby a iné gramatické (napr. syntaktické) a sémantické (napr. metafora) vzory používané v jazyku na pomenovávanie farieb. Termín pochádza od amerického kognitívneho lingvistu Leonarda Talmyho (1985), ktorý v svojej typológii pohybových slovies zostavenej na základe porovnávania geneticky a typologicky odlišných jazykov ukazuje, že lexikalizácia priestorových vzťahov sa môže realizovať podľa viacerých schém (lexikalizačných vzorov), pričom konkrétny jazyk uprednostňuje jednu z viacerých schém lexikalizácie. Lexikalizačné vzory možno sledovať aj pri pomenovávaní farieb v jednotlivých jazykoch, na čo upozornili jazykové údaje prezentované počas workshopu *Lexicalization patterns in color naming: a cross-linguistic perspective* (Viedeň, 18. – 21. februára 2016).

Pri tvorení názvov farieb sa v slovenčine uplatňujú dva základné spôsoby, t. j. derivácia i kompozícia. Ide o lexikalizačné postupy, ktoré sa v prepojení s ďalšími syntaktickými vzormi podieľajú na tvorbe jednotlivých typov významov v pomenovaní farieb. Významy vyjadrené primárne prostredníctvom derivácie sú odlišné od významov tvorených primárne kompozíciou, no niektoré významové kategórie sa môžu sekundárne vyjadrovať aj druhým lexikalizačným spôsobom (deriváciou alebo kompozíciou).

⁸ Slovenský národný korpus verzia prim-7.0-public-all uvádza napríklad pri farbe *bordová* (1222 výskytov)/*bordó* (78 výskytov), *purpurová* (3311 výskytov)/*purpur* (815 výskytov).

⁹ Pomenovania farieb *lila*, *bordó* sa používajú ako adjektíva i ako substantíva.

¹⁰ V nesklonnej podobe sa v slovenčine používajú aj lexémy *tyrkys*, *blond*, *kaki*.

¹¹ Termín je príbuzný termínu J. Furdíka slovotvorný typ (Furdík, 2004, s. 83–86), ktorý vznikol z odlišnej výskumnej perspektívy.

Prostredníctvom derivácie sa v slovenčine primárne vyjadrujú tieto základné typy významov, resp. významové kategórie: 1) 'N-ako', 2) 'približný význam zoslabujúci', 3. 'expresívny (deminutívny) význam'.

1. 'N-ako', t. j. N entita+sufix *-ový/-ová/-ové* (napr. *fial-ový* 'ako fialka', *oliv-ový* 'ako oliva'), keď názov známej entity sa použije na pomenovanie farby. Dochádza tu k lexikálne realizovanému posunu FARBA OBJEKTU NAMIESTO FARBY, ktorý je založený na vzťahu spoločného príznaku medzi entitou a farbou. V tomto prípade môže entitu (t. j. motivát) predstavovať napr. ovocie (*broskyňový*, *marhuľový*, *limetkový*), zelenina (*hráškový*), zvieratá (*lososový*) a pod. Pri takto utvorených adjektívnych názvoch farieb s kategóriou N entita+sufix dochádza k významovej zmene motivátu, čo J. Furdík označuje ako mutačný typ onomaziologickej kategórie (Furdík, 2004, s. 87). Badáme tu úsilie vytvoriť na základe existujúceho obsahu pomenovanie pre nový obsah s významom podobnosti (Furdík, 2004, s. 103). Význam N entita+sufix sa v slovenčine syntakticky vyjadruje nielen jedným slovom (*ružový*, *tyrkysový*), ale aj kompozitom zloženým z prvkov v určovacom vzťahu (*trávovozelená*, *olivovozelený*, *čokoládovohnedý*), ako aj determinatívnou syntagmou (*trávová zelená*, *námornícka modrá*, *vojenská zelená*). No stretávame sa aj s tým, že pomenovanie farby s významom 'N-ako' stráca adjektívnu podobu, ktorá je signalizovaná sufixom *-ový/-ová/-ové*, a substantivizuje sa (*limetka*, *losos*).

2. 'približný význam zoslabujúci' (t. j. zmenšená miera farebného dojmu) je v slovenčine tvorený buď iba sufixom *-(k)avý, -astý* (*zelen-kavý*, *zelen-(k)astý*, *hned-astý*), alebo prefixom + sufixom – *na-A-(a)stý na-A-(a)lý, na-A-(a)vý* (*na-modr-(a)stý, na-zelen-(a)lý, na-červen-(a)vý*). Vo Furdíkovej terminológii ide o modifikačné kategórie vyčleňujúce deadjektíva zoslabujúce s rozdelením na sufixálne a prefixálno-sufixálne (Furdík, 2004, s. 103). Tento význam sa však môže v slovenčine vyjadrovať aj predložkovým spojením *do modra, do zelena, do červena* a pod.

3. 'deminutívny význam' sa vyjadruje sufixom *-učký, -unký, -inký*, ktoré si alternujú (*modručký/modrunký/modrulinký*), okrajovo sa stretávame aj s príponou *-ušký* (*zelen-ušký*). Cieľom je dodať chromatickému adjektívu expresívno-emocionálny odtienok.

V rámci derivácie sa pri tvorení názvov farieb používajú v slovenčine predovšetkým sufixy (veľmi okrajovo prefix + sufix), ktoré sú pre každú významovú kategóriu špecifické, a teda nemožno tu pozorovať polysémiu. Na druhej strane sa pri jednotlivých významových typoch tvorených deriváciou stretávame s väčšou alebo menšou mierou synonymie, ktorá sa prejavuje v tom, že popri derivácii sa daná významová kategória vyjadruje aj ďalším lexikalizačným vzorom slovotvornej či gramatickej povahy.

Na jemnejšom diferencovaní farebného spektra sa v slovenčine najviac podieľa kompozícia, ktorá poukazuje na vyššiu mieru kreativity v pomenovaní farieb. Pri tomto slovotvornom spôsobe sa stretávame s modifikáciami, ktoré vyjadrujú významové kategórie: 1) svetlosť, 2) farebný odtieň, 3) medzizmyslovú skúsenosť a 4) vyjadrenie starobylosti.

1. Svetlosť sa v slovenčine vyjadruje determinatívnymi kompozitami (Furdík, 2004, s. 108), ktoré sú tvorené adverbiami *tmavo-* (*temno-*) a *svetlo-*, *bledo-* (*tmavo-modrý*, *svetlo-modrý*, *bledo-modrý*). V tomto prípade adverbium vyjadruje vlastnosť svetlosti druhého prvku. Významová kategória svetlosti sa však v pomenovaní farieb uplatňuje aj v syntagme s adjektívom, ktoré môže byť stupňované *svetlá* (*svetlejšia*) *modrá*, *tmavá* (*tmavšia*) *modrá*.

2. Farebný odtieň sa tvorí subordináciou tak, že farba vyjadrená adverbium bližšie určuje základné pomenovanie farby vyjadrené adjektívom, napr. *zelenožltý* ('žltý do zelena').

3. Medzizmyslová skúsenosť sa vyznačuje rovnakým spôsobom tvorenia, ako sa tvorí farebný odtieň. Adverbium zastupuje pomenovanie označujúce: a) predovšetkým silu (*silno-*, *slabo-*, *penikavo-*, *ostro-*, *výrazne-*, *sýto-*) spojenú b) s audiálnym zážitkom (*krikľavo-*), c) hustotou (*tuho-*), d) dotykom (*zamatovo-*). V slovenčine sa pri pomenovávaní farieb uplatňuje aj prepojenie so zážitkom z oblasti chuti (*sladká červená*, *kyslá zelená*).

4. Archaickosť sa vyjadruje v adverbiách *staro-*, *šedivo-* a je výrazne lexikálne obmedzená, napr. *staroružový*, *šedivozelený*.

Nie všetky lexikalizačné vzory pri pomenovávaní farieb sú v súčasnej slovenčine rovnako produktívne. Sledujeme tu dynamiku prejavujúcu sa v tom, ktorý lexikalizačný vzor používatelia jazyka bežne uprednostňujú (sú dominantné) pri členení farebného spektra. Dynamiku však možno pozorovať aj v rámci lexikalizačných vzorov pri jednotlivých významových kategóriách, ktoré sa podieľajú na rozložení farebného priestoru.

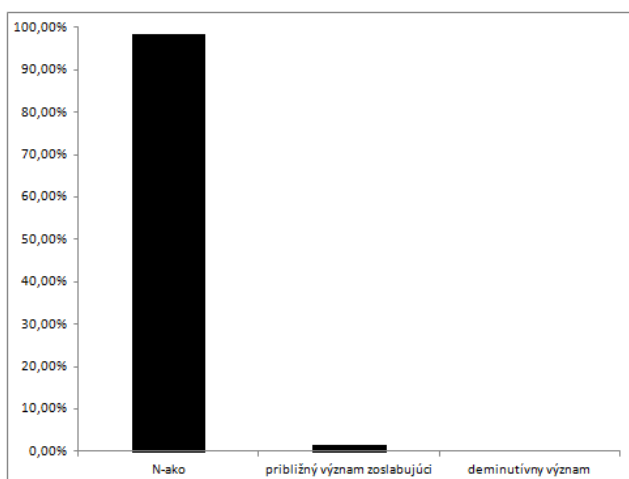
3.2 Produktivita lexikalizačných vzorov a významových kategórií (výsledky)

Produktivitu lexikalizačných vzorov a významových typov sledujeme prostredníctvom výskumu, ktorý sme realizovali v rámci medzinárodného projektu EoSS (Evolution of Semantic Systems).

Výsledky tohto empirického výskumu nás viedli k zisťovaniu produktivity lexikalizačných vzorov, ktoré slovenskí hovoriaci používajú pri pomenovávaní farieb vyjadrujúcich odlišné kategórie významov. Tento výskum ukázal, že z 1038 odpovedí respondentov bolo v slovenčine výlučne deriváciou tvorených 424 mien farieb (40,8 %) a výlučne kompozíciou 605 pomenovaní farieb (58,3 %). Rozdiel medzi obidvoma sledovanými lexikalizačnými vzormi nie je v slovenčine veľký. Okrem toho malú skupinu (9 odpovedí) predstavovali pomenovania farieb, ktoré boli tvorené kombináciou rovnorodých alebo rôznorodých lexikalizačných vzorov (0,9 %) napr. *tmavá modrozelená*, *tmavá olivovozelená*, *sýtosvetlofialová*, *slabooranžovoružová* a i.

O dominantnosti a periférnosti možno v pravom zmysle hovoriť pri významových kategóriách, kde sa ukázali zásadné rozdiely. V rámci derivácie sme zaznamenali ako výrazne dominantnú významovú kategóriu 'N-ako', t. j. N entita+sufix *-ový/-ová/-ové* (napr. *horčicový* 'ako horčica', *lososový* 'ako losos'). Každý opýtaný respondent uviedol minimálne 14 (ale často aj viac, maximálne 28) mien farieb s týmto významovým typom. Zo všetkých pomenovaní utvorených deriváciou predstavovalo významový typ 'N entita+sufix' až 417 odpovedí (98,35 %). Prevažne išlo o jednoslovné pomenovania, no okrem nich sa v 16 odpovediach uplatnili aj ďalšie syntaktické vzory, ktoré si vzájomne konkurovali: kompozitum zložené z prvkov v určovacom vzťahu (napr. *tehlovočervená*, *oblačnemodrá*, *nebeskymodrá*, *slnečneružová*, *orgovánovofialová* a pod.) či determinatívna syntagma (napr. *tehlová červená*, *trávová zelená*, *námornícka modrá* a pod.).

Periférnou významovou kategóriou vyjadrenou prostredníctvom výlučne derivácie je 'približný význam zoslabujúci' (napr. *zelenkastý*, *fialovkastý*, *hnedastý* a pod.), ktorý mal minimálne zastúpenie, a to iba v odpovediach dvoch respondentov (1,65 % zo všetkých pomenovaní tvorených deriváciou). V týchto odpovediach sa uplatnil výlučne sufix *-(k)astý* a ďalšie možnosti tvorenia (prostredníctvom sufixu *-(k)avý* alebo prefixu + sufixu *na-A(a)stý*, *na-A-(a)lý*, *na-A-(a)vý* či predložkovým spojením napr. *do modra*) neboli využité. Opýtaní nepripísali deminutívny význam žiadnej z ukázaných farieb, čo možno vyvodiť z neutrálnej funkcie ich odpovedí, bez expresívneho charakteru.

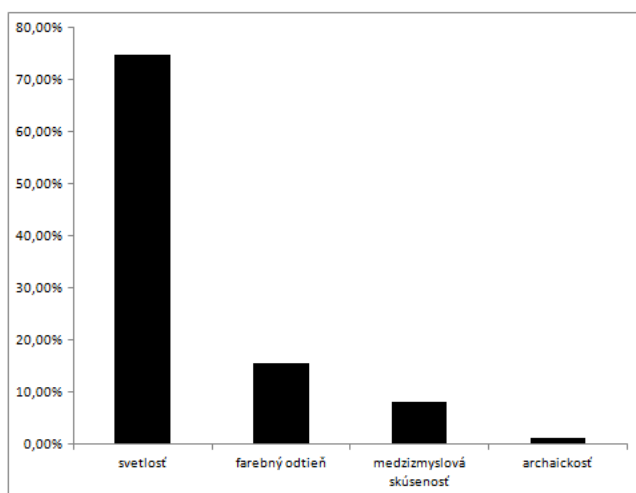


Graf 1 Produktivita významových kategórií tvorených prostredníctvom derivácie (podľa výsledkov EOSS)

V ďalšom lexikalizačnom vzore sa tiež odkryli výrazné kvantitatívne rozdiely medzi jednotlivými významovými kategóriami. Dominantným významovým typom tvoreným kompozíciou sa ukázala v slovenčine svetlosť (74,9 % zo všetkých mien farieb tvorených prostredníctvom skladania) vyjadrená adverbiami *tmavo-*, *svetlo-*, *bledo-* v kompozitách, ako sú napr. *svetlomodrý*, *tmavofialový*, *bledoružový* a i. S touto významovou kategóriou sme sa stretli v 453 odpovediach 19 respondentov, ktorí ju pri pomenovávaní farieb uvádzali v rozličnej frekvencii (od 6 až do 36 odpovedí na jedného respondenta). Respondenti ojedinele (16-krát) vyjadrili túto významovú kategóriu aj viacslovne, napr. so stupňovaným adjektívom (*tmavá*, *tmavšia modrá*), príp. príslovkou (*veľmi tmavočervená*).

Omnoho nižšie zastúpenie (15,7 %) mali farebné pomenovania, ktorými sa prostredníctvom kompozície vyjadroval farebný odtieň. Išlo najmä o pomenovania, pre ktoré v slovenčine existujú mená utvorené deriváciou vyjadrujúce význam 'N-ako' vzťahujúci sa na konkrétnu entitu: *sivozelená* (olivová), *oranžovoružová* (lososová), *červenofialová* (cyklámenová), *fialovočervená* (purpurová), *modročervená* (orgovánová), *červenohnedá* (škoricová), *hnedožltá* (horčicová), *modrozelená* (tyrkysová).

Mená farieb vyjadrujúce medzismyslovú skúsenosť sa objavili v odpovediach 12 respondentov a predstavovali iba 8,1 % (49 odpovedí) z pomenovaní utvorených prostredníctvom kompozície. Toto medzismyslové prepojenie sa vyjadrilo adverbium označujúcim predovšetkým silu (*silnofialová*, *slabomodrá*, *sýtomodrá* a i.), príp. audiálny zážitok (*krikľavozelená*), ktoré možno považovať za preferenčne uplatnené perцепčné vnemy. Ďalšie medzismyslové prepojenia v odpovediach absentovali. Tento významový typ bol periférne vyjadrený v determinatívnej syntagme (*sýta červená*), príp. intenzifikovaný ďalšou príslovkou (*veľmi slabožltá*). Sporadicky (1,3 %) sme zaznamenali významovú modifikáciu archaickosti iba v kompozite *staroružová*.



Graf 2 Produktivita sémantických kategórií tvorených prostredníctvom kompozície (podľa výsledkov EOSS)

Celkovo možno povedať, že dominantné významové kategórie tvorené buď deriváciou ('N-ako'), alebo kompozíciou (svetlosť) majú svoje kultúrne a kognitívne pozadie. Svetlosť vychádza z vývojovo najstaršieho členenia farebného spektra na tmavé a svetlé farby s priradenými odtieňmi. Význam 'N-ako' sa zasa opiera o kultúrne prototypy ako preferované psychické obrazy danej farby, ktoré sú záležitosťou intersubjektívnu uloženou v jazyku a v jednotlivých jeho elementoch. Prototyp je najtypickejší predstaviteľ, najlepší a ideálny príklad určitej farby, ktorý má všetky podstatné vlastnosti v ideálnej miere. Napr. ideálnym reprezentantom ružovej farby v našom kultúrnom kontexte je ruža šípková (lat. *Rosa canina*) vyskytujúca sa v divej prírode, nie rozličné šľachtené ruže; najtypickejším predstaviteľom čokoládovej farby nie je biela čokoláda, ale čokoláda s prísadou kakaa, t. j. mliečna či horká čokoláda; pre telovú farbu je zasa farba pokožky Stredoeurópana, nie napr. Afričana a pod.

3.3 'N-ako' v pomenovávaní farieb

Ako bolo vyššie spomenuté, v odpovediach všetkých respondentov boli početne uvedené pomenovania farieb s lexikálne realizovaným významom 'N-ako', čo nasvedčuje tomu, že ide o výrazne rozšírenú významovú kategóriu v povedomí používateľov slovenčiny ako materinského jazyka. Dokonca aj výsledky výskumov iných jazykov (Conklin, 1973; Wierzbicka, 2005; Malt – Majid, 2013) ukazujú, že jazyky pravidelne a frekventovane využívajú označenia známych entít na pomenovanie farieb. Tento metaforický posun sa v slovenčine primárne realizuje prostredníctvom lexikalizačného vzoru N entita + sufix -ový/-ová/-ové.

Meno predstavujúce slovotvorný základ pomenovania farby môže zastupovať entity najrozličnejšieho druhu. Hoci neprinášame zd'aleka vyčerpávajúci a presný zoznam motivátorov¹², príklady¹³ získané z výskumu EoSS ukázali najviac rozšírené druhy entít, ktoré sú najvýraznejšie zastúpené v povedomí súčasných Slovákov:

1. kvety: *fialový, ružový, orgovánový, lilavý*;
2. ovocie: *olivový, broskyňový, marhuľový, limetkový*;
3. horniny, kovy a drahokamy: *tyrkysový, okrový, antracitový*;

¹² Kompletný zoznam 266 motivátorov (predmetov a javov typického zafarbenia, ako aj niektoré špeciálne prípady, napr. vlastné mená hôr, osôb) priniesol pred takmer 40 rokmi J. Škultéty (1979, s. 47–77).

¹³ Príklady sú uvedené v základnom tvare.

4. nápoje: *kávový, bordový*¹⁴;
5. životné prostredie: *azúrový, oceánový, nebeský*;
6. stavebný materiál: *tehlový, pieskový, kamienkový*;
7. gastronómia: *maslový, horčicový, škoricový*;
8. ľudské telo: *telový, pleťový*;
9. povolanie človeka: *námornícky, vojenský*;
10. ďalšie plody: *gaštanový*;
11. zelenina: *hráškový*;
12. zvieratá a živočíchy: *lososový*;
13. farbivo: *purpurový*;
14. stromy: *jedľový*;
15. byliny: *trávový*;
16. mená maliarov: *ticiánový*;
17. potravina: *kakaový*.

Medzi najviac rozšírené entity používané v slovenčine na tvorenie mien farieb patria tie, ktoré nie je náročné bežnému používateľovi slovenského jazyka jednoznačne farebne identifikovať, teda rozličné kvety, ovocie, no pomerne výrazné zastúpenie (ako aj pomerne jednoduché farebné rozlíšenie) majú aj horniny, kovy a drahokamy. Niektoré pomenovania farieb s lexikálne realizovaným významom 'N-ako' sú v determinatívnej syntagme alebo kompozite často spojené so základnou (významovo nadradenou) farbou. Ide najmä o entity, ktorých farebný príznak nie je dostatočne známy alebo sú farebne nejasné. Sú to napríklad pomenovania farieb vzťahujúce sa na entity označujúce povolania človeka (*kardinálska červená, kráľovská – námornícka modrá, poľovnícka – vojenská zelená* a pod.), niektoré menej známe rastliny (*pistáciová zelená – olivová zelená*), životné prostredie (*azúrová modrá – oceánová modrá – nebeská modrá – dymová modrá*).

So substantivizáciou sa pravidelne stretávame pri takých označeniach entít, ktoré sa končia na skupinu samohlások (*fukšia, aqua*). Nepravidelne (náhodne) sa však substantivizácia uplatňuje aj pri iných menách farieb, ktoré majú metaforický vzťah k entitám s ľahko pripísateľným a jediným farebným príznakom (*smaragd, jahoda, citrón* atď.). Špecifickú skupinu pomenovaní farieb s významom 'N-ako' predstavujú také entity, ktoré sa realizujú pomocou pomenovaní: *ružové drevo, jahňacia nappa, morský rak*. S týmito označeniami sme sa stretli iba v módnych katalógoch, ktoré počítajú s veľmi jemným perцепčným rozlíšením.

Tieto údaje ukazujú, že metaforickosť v pomenovávaní farieb s významovou kategóriou 'N-ako' je značne ovplyvnená znalosťami používateľov jazyka o okolitom svete, ich preferenciami a tým, s čím sa bezprostredne zmyslovo (resp. vizuálne) kontaktujú. Nemalú úlohu v procese pomenovávaní farieb zohráva kultúrny kontext, vizuálne farebné podnety objavujúce sa v prírodnom prostredí. Ako najpestrofarebnejší vnímajú Slováci v súčasnosti svet kvetov a ovocia, ktoré boli pri členení farebného spektra zdrojovými druhmi entít už v starších vývojových fázach (ide o pomenovaniach farieb *fialový, ružový, oranžový*, ktoré Berlin a Kay zaraďujú do 7. etapy vývinu, hoci sémantická kategória 'N-ako' sa začína formovať v oveľa skorších fázach, a to pri pomenovaní červenej farby podľa farbiva získavaného zo zvláštného druhu hmyzu, červce).

¹⁴ Je možné, že pri pomenovaní *bordový* je súvislosť s vínom v povedomí používateľov vo veľkej miere zastretá.

4 Závery

Na báze výsledkov empirického výskumu Evolution of Semantic Systems (EOSS) sme skúmali lexikalizačné vzory, ktoré sa podieľajú na tvorení pomenovaní farieb v slovenčine. Slovenský jazyk (podobne ako väčšina ďalších slovanských jazykov) disponuje slovotvornými spôsobmi, deriváciou a kompozíciou, z ktorých práve kompozícia ponúka používateľom jazyka možnosť detailnejšie diferencovať farebné spektrum, a preto sa v bežnej komunikácii uprednostňuje pred deriváciou. Rozdiel medzi kompozíciou a deriváciou sa však neukázal v slovenčine natoľko významný.

Oveľa výraznejšie rozdiely sa objavili v produktivite sémantických kategórií, na ktorých tvorbe sa podieľa derivácia alebo kompozícia v prepojení s ďalšími syntaktickými vzormi (najmä s predložkovým spojením a determinatívnou syntagmou). Kým derivácia sa primárne zúčastňuje na tvorení troch významových typov s markantným zastúpením významu 'N-ako', t. j. N entita+sufix a nízkym zastúpením približného významu zoslabujúceho, kompozíciou sa tvoria sémantické typy, z ktorých sa ako centrálny ukázal význam svetlosti; periférne boli významové modifikácie vyjadrujúce farebný odtieň a medzismyslovú skúsenosť. Za postcentrálne sémantické kategórie možno považovať archaickosť (tvorená komponovaním) a deminutívny význam (tvorený deriváciou), ktoré sú kolokačne a štylisticky ohraničené.

Lexikalizačné vzory uprednostňované v súčasnej slovenčine pri tvorení názvov farieb odкрývajú zákonitosti, ktoré majú svoje vývinové a kultúrne opodstatnenie. Významová kategória svetlosti vyjadrovaná adverbialnými komponentmi *tmavo-*, *temno-*, *svetlo-*, *bledo-* je spojená s rozložením farebného spektra na dve základné časti (na bielu farbu s priradenými svetlými farbami a čiernu farbu s tmavými farbami), pre ktoré v slovenčine (resp. v praslovančine) sú od 12. storočia písomne doložené výrazy **čьrnъ*, **bělъ* (**bhēlo-*). Podľa Berlina a Kaya (1969) ide o východiskovú etapu v evolučnom vývoji kultúry a jej jazyka s vlastným spôsobom konceptualizácie farebného sveta.

V ďalších vývojových etapách sa začína formovať sémantická kategória 'N-ako'. Jej dominantnosť v súčasnej komunikácii je viazaná na základné kognitívne predpoklady človeka, ktorý vlastnosti predmetu (napr. farby) prirodzene zmyslami vníma ako neoddeliteľné súčasti celku, t. j. známeho predmetu, javu. Tento metaforický vzťah realizuje k entitám najrozličnejšieho druhu (v slovenčine najmä ku kvetom a ovociu), ktoré sú z hľadiska jeho skúsenostného komplexu ideálnymi reprezentantmi (prototypmi) určitej farebnej vlastnosti, čo je vo veľkej miere spojené s kultúrne špecifickými (intersubjektívnymi) motiváciami. Výskum lexikalizačných vzorov ukázal, že systém pomenovaní farieb v súčasnom jazyku nie je náhodný, ale vyvinul sa zo staršieho stavu a je vo veľkej miere kultúrne determinovaný.

Literatúra:

- BERLIN, B. – KAY, P. (1969): *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. Berkeley, CA: University of California Press.
- CONKLIN, Harold C. (1973): Color categorization. In: *American Anthropologist*, 75/4, s. 931–942.
- DÉMUTH, A. (2005): *Čo je to farba?* Bratislava: Iris.
- DOLNÍK, J. (2010): *Jazyk – človek – kultúra*. Bratislava: Kalligram.
- DORN, A. – WILLALVA, A. – GIOULI, V. – WIEBKE, B. – KOVALENKO, K. – WANDL-VOGT, E. (2016): Displaying Language Diversity on the European Dictionary Portal – COST ENEL – Case Study on Colours and Emotions and their Cultural References. In: T. Margalitadze – G. Meladze (eds.): *Proceedings of the 17th EURALEX International Congress*. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, s. 237–243.

- GALLO, J. – ALEFIRENKO, N. (2007): Etnokultúrnaja markirovannost' russkoj frazemiki (na slavjanskom kognitivno-semiologičeskom fone). In: *Materialy XI Kongressa MAPRJAL (Varna, 17. –23. septembra 2007)*. Tom 2. Sofija: Heron Press, s. 21–28.
- KOVÁČOVÁ, M. – KRASNOVSKÁ, R. – KUCHAR, R. – LALIKOVÁ, T. – MAJTÁN, M. – ONDREJKOVÁ, R. – SITÁROVÁ, M. – SKLADANÁ, J. (2000): *Historický slovník slovenského jazyka V. (R-rab–Š-švrkotat)*. Bratislava: Veda.
- FURDÍK, J. (2004): *Slovenská slovotvorba. Teória, opis, cvičenia*. Prešov: Náuka.
- KYSELOVÁ, M. – IVANOVÁ, M. (2013): *Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky*. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
- JAMESON, K. – D'ANDRADE, R. (1997): It's not really red, green, yellow, blue: an inquiry into perceptual color space. In: C. L. Hardin – L. Maffi (eds.): *Color Categories in Thought and Language*. Cambridge: Cambridge University Press, s. 295–319.
- Klingel. Jar a leto 2016.
- KRÁLIK, Ľ. (2015): *Stručný etymologický slovník*. Bratislava: VEDA.
- LADD-FRANKLIN, C. (1929): *Colour and colour theories*. New York: Harcourt.
- LUCY, J. A. (1997): The linguistics of color. In: C. L. Hardin – L. Maffi (eds.): *Color Categories in Thought and Language*. Cambridge: Cambridge University Press, s. 320–346.
- MACHEK, V. (1968): *Etymologický slovník jazyka českého*. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha: Academia.
- MALT, B. – MAJID, A. (2013): How thoughts is mapped in to words. In: *WIREs Cognitive Science*, 4/6, s. 583–597.
- MAJID, A. – LEVINSON, S. C. (2007): The language of vision I: Color. In: *Fieldmanual*, 10, s. 22–25.
- MAJID, A. – JORDAN, F. – DUNN, M. (2011): *Evolution of Semantic Systems. Procedures Manual*. Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics.
- ROBERSON, D. – DAVIES, I. – DAVIDOFF, J. (2000): Color categories are not universal: replications and new evidence from a stone-age culture. In: *Journal of Experimental Psychology: General*, 129/3, s. 369–398.
- REGIER, T. – KAY, P. – KHETARPAL, N. (2007): Color naming reflects optimal partitions of color space. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104/4, s. 1436–1441.
- ŠKULTÉTY, J. (1979): *Kapitoly z chromatickej terminológie slovenčiny a románskych jazykov*. Bratislava: Univerzita Komenského.
- TALMY, L. (1985): Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms. In: T. Shopen (ed.): *Language Typology and Syntactic Description 3: Grammatical Categories and the Lexicon*. Cambridge: University Press, Cambridge, s. 57–149.
- TOKARSKI, R. (1995): *Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- VAŇKOVÁ, I. (2003): Kolory w czeskim językowym obrazie świata: barwa „żlutá”. In: R. Grzegorzczkova – K. Waszakowa (eds.): *Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykty mentalne. Cz. II*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 69–99.
- WASZAKOWA, K. (2000): Strukturaz naczenniowa podstawowych nazw barw. Założenia opisu porównawczego. In: R. Grzegorzczkova – K. Waszakowa (eds.): *Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykty mentalne. Cz. I.* Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59–72.
- WIERZBICKA, A. (2005): There are no “color universals” but there are universals of visual semantics. In: *Anthropological Linguistics*, 47/2, s. 217–244.
- WITTGENSTEIN, L. (2002): *Modrá a hnědá kniha*. Bratislava: Kaligram.

Summary

Cultural Aspects in Slovak Color Naming

The paper offers lexicalization patterns in Slovak colour naming on the basis of empirical data from the EOSS project (Evolution of Semantic Systems, 2011 – 2014, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). On the background of earlier systems of categories, we find word-formation, other grammatical (eg. syntactic) and semantic (eg. metonymy) patterns participating in the creation of Slovak colour names in the structure of contemporary Slovak language. For all these patterns, we use the term lexicalization pattern that is involved in creating different semantic categories. Not all lexicalization patterns and semantic categories are equally productive in dividing the colour spectrum, therefore we focus on their productivity, as well as on dominant and peripheral types of meanings that have cultural reasons.

Výrazové stvárnenie bolesti v slovenskom preklade Esterházyho *Pomocných slovies srdca*

Anita Huťková

Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
anita.hutkova@umb.sk

Kľúčové slová: umelecký preklad, interpretácia, výrazové kategórie, Péter Esterházy

Key words: literary translation, interpretation, the categories of expression, Péter Esterházy

Pár slov na úvod

Existujú témy, ktorým sa vyhýbame a ktoré by sme najradšej nikdy nepoznali. Takou je i téma smrti matky. Péter Esterházy knihu *A szív segédigéi* publikoval v Maďarsku v roku 1985 a podobne ako mnohé ďalšie nesie podnázov: úvod do krásnej literatúry. Do slovenčiny ju preložila Juliana Szolnokiová (2009). *Pomocné slovesá srdca* sú spoveďou zúfalého, milujúceho syna, ale i nahnevaného, bezmocnosťou zroneného muža, ktorý sa rozhodne s osobnou bolesťou podeliť s čitateľmi, verejnosťou. Bolesť odieva do slov, metafor, syntaxe a obrazov, z ktorých presakuje i v slovenskom percepčnom prostredí známy rukopis autora.

Hravý, provokatívny, jazykovo a štylisticky nevyspytateľný, originálny, trufalý, klasický (čo sa týka sujetu) a post-postmoderný (vo výrazive). V kontraste sa ocitajú osobne ladená výpoveď a množstvo (často prekvapivých) viac či menej viditeľných odkazov na iné texty. K dominantným výrazovým kategóriám¹ subjektívnosti, autenticity² a expresívnosti³, sa pridružuje aj intertextualita a také typy zážitkovosti, ktoré primárne nekorešpondujú s témou (provokatívnosť až vulgárnosť výrazu cez explicitne vyzdvihované prvky telesnosti a sexuality). Očakávaná kategória melancholickosti výrazu⁴, spojeného s vedomím pomínutelnosti, osamelosti či straty blízkej osoby, výrazovo nie je v texte dominantná, pretože sa neustále konfrontuje s vyššie menovanými kategóriami. Na druhej strane sa týmto štylistickým počínom, paradoxne, pocit márnosti, smútku, bezmocnosti ešte viac umocňuje. Naznačené výrazové kategórie reprezentujú kľúčové komponenty analyzovaného Esterházyho textu. Výrazovú kategóriu považujeme v umeleckom texte za minimálnu prekladovú jednotku. Podarilo sa slovenskému prekladu odovzdať tematickú a jazykovú, komplexne vnímanú výrazovú osobitosť východiskového textu? Zachovala prekladateľka idiolekt autora v celej jeho výrazovej šírke?

¹ S pojmom výrazu budeme pracovať v súlade s teóriou výrazových kategórií Františka Miku (1970), ktorý výrazovú kategóriu vníma na pozadí tematického i jazykového stvárnenia, v súčinnosti oboch uvedených rovín. Výrazová kategória sa tak i v našom poňatí ocitne v rovine štýlu (v ideálnej podobe), resp. textu (v parolovej podobe). Z prekladového aspektu pojmoslovie čiastočne aplikujeme aj cez výrazové zmeny a posuny stratifikované Antonom Popovičom (1975).

² Ide o kategóriu, ktorá rozvíja subjektívnosť výrazu. Označuje „úprimné a nefalšované vyjadrovanie bez pretvárk a konvencií“ (Plesník, 2011, s. 54) Takýto prejav je zároveň spontánný, živý, vášnivý, šokujúci, nekonformný a pod. (ibidem, s. 54).

³ Aj kategória expresívnosti podporuje subjektívnosť výrazu. Potláča sa objektívnosť témy a do popredia vystupuje subjektívne prežívanie. Realizovaná forma expresívnosti však mimoriadne provokatívne a šokujúco naruša akékoľvek konvencie vo vzťahu k spracovaniu témy v maďarskom percepčnom prostredí.

⁴ Melancholickosť výrazu sa prejavuje v pocite straty prerastajúcej do „vedomia ujmy, v ktorej sa ukazuje nespravodlivosť. Táto sa nakoniec stotožňuje s hlavným bezprávím – so smrťou“ (Plesník, 2011, s. 336). Tragickosť výrazu je „predovšetkým zážitkom reálnej skúsenosti a až druhotne, odrazovo sa stáva predmetom umeleckého vyjadrenia v najširšom význame slova“ (ibidem, s. 361).

Subjektívnosť a autenticnosť výrazu

Autor knihu opatril veľmi osobným predhovorom. Zdôveruje sa v ňom, že tento text píše iba dva týždne od matkinej smrti, a sám seba povzbudzuje: „Áno, hor sa do diela!“⁵ Zároveň je však opatrný: „Nepoužívam jazyk, nechcem si uvedomiť pravdu [...]“; „Nehovorím, ale ani nemlčím [...]“⁶ a snaží sa tváriť hrdinsky: „Chlap neodkrýva svoj žiaľ pred svetom“⁷. Vzápätí ponecháva voľný priebeh hnevu a žoviálne vykrikuje, že „bunky idú do sveta, orevoár, mesjé [...]“⁸ Hĺbka prežitého v spleti bezmocnosti a typického naturalistického rukopisu autora sa rysuje už v predslove. Esterházy dokonca uvádza vtip z filmu o Jamesovi Bondovi, ktorý na otázku, či jeho protivník zomrel, odpovedá: „Nuž dúfam!“. Takto sa snaží odľahčovať situáciu a ťaživú tému.

V závere predhovoru sa nezaprie a celý odsek venuje enumerácii autorov, ktorých citáty sa v knihe „doslovne alebo v pokrútenej podobe vyskytujú“. Viac než 40 mien. Ide tu o ironické zadostučinenie kritikom, ktorí ho obviňovali z preberania myšlienok. Podobne postupoval napr. aj v diele *Egyszerű történet vessző száz oldal* (2013a), kde prehnane uvádzal všetky zdroje, ktoré použil, dokonca i fiktívne, čím patrične sťažil čitateľovi príjem textu. V slovenskom preklade Renáty Deákovej (*Jednoduchý príbeh čiarka sto strán*, 2013b) sa práve táto explikačná časť stala zdrojom viacerých humorných výmen názorov medzi prekladateľkou a autorom (porov. napr. Huťková 2015).

Kompozičné a neverbálne štýlémy v službách výrazu

Nie je bežné začínať kompozičnými a neverbálnymi zložkami textu. Daný text je však osobitý práve črtami tohto charakteru, ktoré navyše čitateľ okamžite vizuálne zaregistruje ako nezvyčajný prvok. Za najzreteľnejšie považujeme čierne orámovanie strán, evokujúce smútočné oznámenie. Tento element sa pridrižiava témy. Prvá strana v orámovanom liste sa začína kresťanským prežehnaním „V mene Otca i Syna“, ale tu je to vnímané aj doslovne. Otec zvoláva svojich synov a dcéry domov zo sveta. S mamou je už veľmi zle. Motív kresťanského, nábožného sa v texte opakuje na viacerých miestach v podobe odkazov na biblické motívy či citáty. Najzreteľnejší je na čiernej strane uprostred knihy, ktorá je akýmsi predelom. Svieti na nej malý biely nápis: *Som zvonivý kov a brnkajúci cimbal! Všetci nech skapú. Nenávidím ťa.*⁹ Prvá veta ukážky odkazuje na známy Pavlov hymnus na lásku. Druhá je výkrikom hnevu a bezmocnosti.

Strany nie sú číslované. Kompozične je každá strana riešená akoby dvoma paralelnými svetmi. Ide o osobitú vertikálnu kompozíciu. Väčší priestor v hornej časti strán je venovaný matke, spomienkam, príbehom a pod. Je napísaný štandardným typom písma, miestami je využitý bold a kurzíva. V spodnej časti strán sú zväčša kratšie sentence, niekedy len veta alebo krátky odsek, písaný veľkými písmenami, ktoré udierajú čitateľovi do očí a vynucujú si pozornosť. Sú spojené s prežívaním autora, obviňovaním sa, hľadaním zmyslu a odpovedí. Zvyčajne sú mimoriadne naturalistické, napr. ZOŽRALI STE SVOJU MATKU! (ZOŽRAL SOM SVOJU MATKU.),¹⁰ alebo obrazné, pričom siaha po citátoch z biblie či iných autorov (uvedených v predhovore), príp. sa odvoláva na vlastné texty (napr. *Fancsikó*¹¹). Niektoré sú prekvapivé a v kontexte nezrozumiteľné, napr. HYBAJ, COLORADO, ZOBUDME

⁵ Igen, dologra!

⁶ Nem használok a nyelvet, nem akarom felismerni az igazat, Nem beszélek; de nem is hallgatom.

⁷ A férfiember búját nem tárja a világnak.

⁸ Nézní, ahogy mennek világgá a sejtek, orővoár möszjő [...]!

⁹ Zengő érc vagyok és pengő cimbalom! Rohadjon meg mindenki. Gyűlöllek.

¹⁰ FÖLZABÁLTÁKOK ANYÁTOKAT! (FÖLZABÁLTAM ANYÁMAT.)

¹¹ Péter Esterházy: *Fancsikó és Pinta*. Budapest: Magvető 1976.

HROBÁRA!, čo opäť naznačuje, že intertextovosť je prítomná v celej Esterházyho tvorbe, je súčasťou jeho spôsobu písania a nevyhol sa jej ani v tejto osobne ladenej výpovedi.

Intertextovosť badáme aj v oslovovaní matky menom Borgesovej lásky, Beatriz Eleny Viterbo. Takto do seba prenikajú viaceré podoby lásky (matky a syna, ženy a muža). Syn si predstavuje mŕtvu matku ako Elenu Beatriz Viterbo, ktorá prichádza pochovať svojho syna. Oživuje matku, aby uľavil svojej bolesti. Možno, aby sa mohol vyplakať, pretože spoločnosť to mužom zazlieva (chlap predsa neplače), ale v role ženy sa vyplakať môže. Je to hra s maskou, úkryt identity (porov. aj Németh 2000).

Identita rozprávača

I z hľadiska horizontálnej kompozície môžeme hovoriť o špecifickom type textu. Dielo možno podľa identity rozprávača rozdeliť na dve časti. V prvej časti je rozprávačom muž, syn, ktorý s otcom a so súrodencami prežíva matkinu smrť. Za čiernou stranou, predelom v knihe, sa v pozícii mŕtveho ocitá syn. Kým na konci prvej časti plače syn za matkou: „Mamičkenka, počuješ, mamička, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, drahá Beatriz, moja navždy stratená Beatriz, ja som tu, ja...“¹², od polovice knihy pozíciu rozprávača preberá matka. „Syn môj. Synček. Synáčik môj. Takže sme teraz na tom takto, ty tam, ja tu, tam ty, tu ja. Nemyslím si nič. Prijímam tvoju smrť s otupeným mlčaním. Ty si umrel, a ja som tá čo nie je.“¹³

Na osobité genderové usporiadanie textu upozorňujú vo svojich prácach Zsófia Szele (2003) a Zoltán Németh (2000). Zs. Szele zároveň dokazuje, že aj napriek snahe autora vcítiť sa do tela ženy, sú v texte prítomné „preklepy“, odhaľujúce maskulínnu podstatu rozprávača. Autorka zároveň považuje za nevyhnutné „ženské čítanie“ (feminínne), pretože 1. Esterházy zobrazuje ženskú rolu (rola matky), 2. fiktívna postava matky, ktorá smúti za synom, vzišla z mužskej fantázie, muž sa ocitá v role ženy. Muž nahradí svoju mužskú identitu ženskou, jeho očami videným, predpokladaným ženským svetom. Po čiernej stránke sa teda v pozícii rozprávača ocitá matka, hoci z gramatického/formálneho jazykového hľadiska tomu v maďarčine nič nenapovedá. Maďarčina nerozlišuje rody, a tak sa v slovenskej verzii – keďže ide o minulé čas – musí realizovať gramatická konkretizácia, vyjadrenie ženského rodu. Jazyk textu sa stáva jazykom matky: „Opíšem to: Na tvojom pohrebe, synček [...]“¹⁴ Tieto úvodné slová s opisom pohrebu sa opakujú v jednej z posledných častí 13-krát. Potom to Esterházy vzdá. Vráti sa k vlastnej, mužskej identite. Feminínne mizne, text sa opäť ocitá v maskulínných obrazoch (porov. Németh, 2000, s. 117). Na konci knihy je rozprávačom teda opäť syn, aby mohol neviazane, bez pretvácky, úprimne prerozprávať spomienky na posledné stretnutie s matkou v nemocnici.

Zs. Szele (2003) identifikuje presakovanie „mužského písania“ v ženskej role napr. v častiach, kde sa (matka) zbytočne veľa zaoberá svojím zovňajškom, napr. stehnamí a chudnutím, vlnami, resp. veľkosťou prs:

„Mademoiselle Beatriz, vy teda máte kozy!“, šepkal pohrdlivo ten chren. (Čo aj mohla byť pravda, lebo dedinské deti vykrikovali ceckatá Lizi, no len krátky čas mi to bolo trápne.)¹⁵

Na inom mieste:

¹² „Anyácskám, hallod, anyácskám, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz drágám, örökre elvesztett Beatrizom, én vagyok itt, én...”

¹³ „Fiam. Kicsi fiam. Én kicsiny fiam. Akkor hát most így, te ott, én itt, ott te, itt én. Nem gondolok semmit. Bárgyú szótlanúsággal fogadtam halálod. Te haltál meg, és én nem vagyok.”

¹⁴ „Leírom: a temetéseden, fiam, [...]“

¹⁵ „Mademoiselle Beatriz, maga bögyös”, susogta megvetően, a kóró. (Ami igaz lehetett, mert a falubeli gyerekek csöcsös Lizi-t süvöltözték, de csak rövid ideig szégyelltem.)

To je moja prvá spomienka na prsia. Že z košíkov podprsenky s plačom vysýpam piesok, ale keď si ju chcem znova dať, nemám prsia!, nemám si ju načo dať...¹⁶

Expresívnosť a provokatívnosť výrazu

Z interpretačného hľadiska sú dané výrazové kategórie kľúčové aj pre preklad. Vo vzťahu k téme ich čitateľ môže pociťovať až ako nemiestne či nevhodné. Zvolené expresívne obrazy však zakrývajú skutočné rozpoloženie autora. Zároveň sú výrazom autorského idiolektu, identifikačným kódom esterházyovského štýlu. Prekladateľka, s výnimkou niekoľkých neutralizácií, dôsledne zachováva ekvivalenciu v expresívnom, telesnom, sexuálnom či inom provokatívnom výrazovom stvárnení myšlienok východiskového textu. Nasledujúce ukážky sú toho dôkazom:

„ – Ty hlupák! Objím ma, zval' na zem, pod'me!... Čo viac treba? Vyfajči ma do konca ako cigaretu, vyľisuj, roztrhaj! Správaj sa ako človek!... Si smiešny.“

Barón Uzuzor, takmer sa neovládajúc, postrkoval z izby babizňu s hnusnými rečami, pričom škrekľavo vykrikoval: – Toto je podľa vás *hrud'*?! Toto? Toto, prosím, nie je hrud', ale konček parízeru. – Ešte aj teraz počujem ten zachrípnutý, rozčúlený a rozzúrený hlas, toto nie je hrud', ale konček parízeru!¹⁷

Preklad zachováva nielen význam, ale kopíruje aj príznakovú syntax, expresívne slovné spojenia, stupňovanie, hovorovosť a spontánnosť prejavu tendujúcu k vulgárnosti, ktorú sa barón snaží vtlesniť do štylizovanej úctivosti, pričom celá situácia vyznieva komicky.

JE NAČASE, ABY SOM SKROTIŁ SVOJU INŠPIRÁCIU A NA CHVÍĽU SA ZASTAVIL NA SVOJEJ CESTE, AKO KEĎ SA ČLOVEK DÍVA NA VAGÍNU NEJAKEJ ŽENY [...]¹⁸

Neskôr, v rámci odpornej nočnej ruvačky tvoj na mol spitý otec na mňa vyliezol a ja som ho zo seba nezmetla (ako húsenicu; húsenica – možno preto, že brucho, ktoré pritískal k môjmu mal biele a studené), bála som sa, boli sme nedobrí bitkáři, priveľmi rýchli, navyše som ľutovala, s odporom som nás ľutovala, ležala som meravovo rozťahnutá – pomôž, ancikrista tvojho! dychčal, zavrela som oči, aby som nevidela jeho tvár, ale aj spoza privretých viečok som všetko videla a cítila.¹⁹

Vulgarizmy, presné (odborné) i subštandardné pomenovania súvisiace so sexualitou v najširšom význame slova sú obľúbenou súčasťou Esterházyho idiolektu. Funkčne s nimi pracuje vo všetkých svojich textoch. Szolnokiová ich adekvátne odovzdáva aj v slovenčine.

Stromy a kriky celkom nečakane čúrali! Slnko presvecovalo oblúk, krajinu naplnil zlatý trbleť, iskrenie, nádhera, farby – a otrasný smrad moču!²⁰

¹⁶ „Ez az első emlékem a mellemről. Hogy a melltartó kosarából sírva szórom ki a homokot, de mikor újra felvenném: nincs mellem! nincs mire fölvenni...“

¹⁷ „ – Te buta! Fogj, ölelj, teperj le!... Mi kell még? Szívj végig, mint egy cigarettát, sajtolj ki, szaggass szét! Viselkedj emberül!... Nevetséges vagy.“

Uzuzor báró magát kevésbé türtőztetve tuszkolta ki a szobából a gonosz szájú véniséget, miközben rikácsolva kiabált: – Ez magának *kebel'*?! Ez? Ez, kérem, nem kebel, de parízervég. – Most is hallom a rekedt, izgatott és felbőszült hangot, ez nem kebel, *de parízervég!*“

¹⁸ IDEJE, HOGY MEGZABOLÁZZAM IHLETEMET, ÉS EGY PILLANATRA MEGTORPANJAK UTAMON, MINT MIKOR EGY NŐ VAGINÁJÁT NÉZI AZ EMBER [...]

¹⁹ Később, egy rohadt éjszakai verekedéskor – apád csontrészegen rám mászott, én nem söpörtem le magamról (ahogy egy hernyót; hernyó – talán mert fehér és hideg volt a hasa, melyet az enyémhez nyomott), féltem, rossz veszekedők voltunk, túl gyorsak, és sajnáltam is, undorodva sajnáltam magunkat, mereven feküdtem széjjel – segíts, a szentségedet!, lihegte, becsuktam a szemem, hogy ne lássam az arcát, de a csukott szemhéjak mögött láttam és éreztem mindent.

²⁰ Nagy váratlan a fák és bokrok: pisiltek! A nap rásütött az ívre, arany ragyogás töltötte be a vidéket, szikrázás, gyönyörűség, színek – és förtelmes hűgyszag!

Z prekladového aspektu je moč neutrálne, skôr odborné pomenovanie, ktoré má v maďarčine ekvivalent v lexikálnej jednotke *vizelet*. Esterházy zvolená lexéma *húgy* je expresívnejšia (ekvivalentom by mohla byť napr. šťanica).

Posledné stretnutie v nemocnici, naturalizmus a trpký humor

Matka je odkázaná na synovu pomoc, čo je pre syna nezvyčajné, lebo predtým sa vždy starala ona o neho. Bezradnosť dospelého syna v tejto situácii je veľmi dojímavá. Matka usmerňuje, on poslušne vykonáva. Má zábrany vyzliecť ju (tu sa vynára fakt, že on je muž a ona žena), má zábrany siahnuť jej do nočnej košele po spadnutý rezanec/nit'ovku, radšej by ju odprevadil na mužskú toaletu (než na ženskú) a pod. Keď spoločne kráčajú na toaletu, matka žartuje, že sú ako zaľúbený pár a vymámi od mladíka aj kompliment: „Možno som pribrala.“ „Kdeže,“ povie inštinktívne a zapýrim sa. Toto ju ešte väčšmi našťve. Nevie reagovať.²¹

Jednoznačný sexuálny náboj sa objavuje, keď ho láka a zároveň desí pohľad na matkino vyholené ohanbie (tu sa úplne stratila rola matka – syn, porov. aj Szele 2003, Németh 2000):

Vidím, že horná časť ochlpenia je vyholená. Rozcítim sa. Takže tak! *Odstrihli trpaslíkovi bradu*. Strnisko. Chcel by som na bruškách prstov cítiť tvrdé konce chlupov.²²

Matka si to všimne a povie, že to náhodou ju vyholili, že si vraj mysleli, že ide rodiť! Tak sa miesi tragické s komickým takmer v každom odseku textu.

Matka ho celý čas oslovuje maznavým, detským: *maflitsek*, ale v poslednej vete z obrazu v nemocnici ho nazýva už iba synom. Szolnokiová oslovenie do slovenčiny prekladá ako *gramblíček*. Slovenský ekvivalent nie je až taký láskavý, zhovievavý či maznavý ako maďarský *maflitsek*. Používateľ slovenského jazyka cíti výrazne negatívnu sémantiku adjektíva *grambl'avý*, podporenú kakofonickým zhlukom spoluhlások (gr, mbl'), ako aj štylistickú príznakovosť zvolenej lexémy (hovorový štýl, časovo staršia jednotka, ktorá sa v súčasnosti bežne nepoužíva, málo frekventované adjektívum). Láskavé matkino oslovenie zachraňuje derivačná morféma (-ček), zastupujúca ikonicky niečo malé a milé, ktorému odpustíme akúkoľvek nešikovnosť a neohrabanosť. Ťapáčikovi.

Nasledujúca scéna predstavuje jeden z najpôsobivejších obrazov vzťahu matky a syna, pričom mimovoľne potvrdzuje priliehavosť zvoleného oslovenia:

„Čo robíte, *gramblíček*?“

„Držím.“

Nahýnam sa nad misu, ona sa mierne zakloní na moje rameno, je to trocha akoby sme tancovali. [...]

„Kde sme prestali?“ „Papier,“ odpovedá a siahne si do vnútorného vrečka, pričom ma drží za krk. Podvolím sa želaniu brušiek prstov. „Je mi zima.“ „Áno.“ Na zadku má husiu kožu, mäso je tenké, studené.

„Preboha živého, pohnite sa.“ Teraz si uvedomujem to vykanie. „Prečo mi vykáš?“ Vypukne v suchý plač.

„Lebo musím s..ť!“

„V poriadku, dobre, dobre,“ mumlem vyplašene, „pekne si sadneš, tak.“ [...]²³

²¹ „Talán elhízta.” „Dehogy”, mondom ösztönösen, és elpirulok. Ez így együtt még jobban bosszantja őt. Nincs reakció.”

²² Látom, hogy a szőrzet fenti része le van borotválva. Elérezékenyülök. Hát ez az! *Levágta a törpe szakállát*. Tarló. Szeretném az ujjbegyeimben érezni a levágott szőrök kemény tövét.

²³ „Mit csinál, *maflitsek*?“

„Tartok.”

Előredőlök a kagyló fölé, ő pedig enyhén hátrahajol, bele a karomba, kicsit mintha táncolnánk. A baj az, hogy nem tudok oldalt kerülni, mert a két lába közt állok. Fárad a karom. Végül a víztartályból vezető csőről lököm el magam, rövid bizonytalanság után biztosan állunk.

Obraz pokračuje ďalej, matka nie je schopná si sadnúť, nakoniec jej treba iba cikať, čo môže aj postojačky. Syn nevie, kam sa pozeráť, ako a kde ju držať, smejú sa spolu, potom sa matka hnevá, veď takto sa cikať nedá. On nevie, ako byť užitočný, matku všetko znervózňuje, jeho to mrzí... Matka chce nepoužitý papier naspäť. Opis situácie je tragický i komický zároveň, synovská neha k matke sa miesi s naturalistickými detailmi. Po návrate do izby mu spraví miesto vedľa seba v posteli a silno ho stíska, plače a prizná, že sa bojí. Poslednýkrát mu povie gramblíček, synček.

Intersemiotický preklad

Na motívy tohto románu a minipoviedky Istvána Örkénya *Nincs bocsánat*²⁴ bol nakrútený aj krátky, 14-minútový film, v ktorom sa mladý muž lúči so svojou matkou a pokúša sa vyrovnáť s jej smrťou. Rumunsko-maďarský film, ktorý premietali na filmovom festivale študentských krátkych filmov v roku 2014, niesol názov *Maflitsek*, matkino maznavé oslovovanie synčeka (Esterházyho).

Intersemiotický preklad, filmová adaptácia má teda dva východiskové texty: Esterházyho a Örkényov, ktorý je starší a na ktorého Esterházy tvorivo nadväzoval. Örkény²⁵ v strohej krátkej poviedke, opisuje skon svojho otca v nemocnici, vlastnú bezradnosť a prázdnotu. Málo slov a veľa priestoru na interpretáciu. V slovenskom preklade výber krátkych poviedok vyšiel naposledy pod názvom *Nádej zomiera posledná* (2004)²⁶, preklad urobil Karol Wlachovský, predslov napísal P. Esterházy, ktorý Örkényove minútové príbehy veľmi dobre poznal. Filmové spracovanie väčšiu časť preberá od Esterházyho (napr. spomenuté pasáže s rezancami či toaletou), iba rámcové časti: úvod a záver (pochmúrne prostredie nemocnice, domáhanie sa poslednej rozlúčky s „telom“ v márnici, neosobný prístup personálu, pokyny na úpravu nebohého) sú prebraté od Örkénya. Vo filme boli provokatívne (aj vulgárne) a sexuálne komponenty neutralizované.

Záver

POMOCNÝM SLOVESOM POPIERAME. Píše sa veľkými písmenami na jednej zo strán dole. Popierame? Ale ktorým a čo?

Pomocné slovesá nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete spájajú s iným, plnovýznamovým slovom. Potrebujú ho, resp. potrebujú sa navzájom. Formálne spojenie zreteľne demonštrujú najmä sponové slovesá. Ostatné pomáhajú vyjadriť vôľu (modálne), alebo začiatok a koniec deja (fázové) či obmedzené limity (limitné). Pomocné slovesá pomáhajú autorovi prekonať bolesť srdca.

V maďarčine má slovo *ige* aj iný rozmer. V kresťanských liturgiách zosobňuje „slovo Božie“. Maďarský názov románu v sebe zachytáva aj tento rozmer, pomocné (Božie) slová

„Hol hagyjuk abba?” „A papír”, feleli, s közben a nyakamba kapaszkodik, benyúl a belső zsebbe. Engedek az ujjbegyek kívánságának. „Fázom.” „Igen.” A feneke lúdbőrös, a hús vékony, hideg.

„Az Isten áldja meg magát, siessünk már.” Most figyelek föl a magázásra. „Miért magázol?” Száraz sírás szakad ki belőle.

„Mert sz... nom kell!”

„Jól van, jól van”, motyogom ijedten, „szépen, úgy, leülsz.”

²⁴ V slovenskom preklade *Niet odpustenia*, preklad: Karol Wlachowský.

²⁵ István Örkény (1912 – 1979) – maďarský predstaviteľ stredoeurópskej grotesky. Briskný humor, minimalizmus a vypointovaný, trefný záver s hlbším výpovedným pozadím obdivoval aj P. Esterházy. Spomínaná poviedka (*Niet odpustenia*) však s ohľadom na tematiku vybočuje z typického rámca grotesky.

²⁶ Výber z Örkényovej krátkej tvorby (tzv. minútové poviedky) v slovenskom preklade predstavuje tretí samostatný knižný súbor próz autora v slovenskom percepčnom prostredí. V skutočnosti, ako píše prekladateľ K. Wlachowský vo výbere *Nádej zomiera posledná* (2004), vznikol počas 30 rokov od polovice 70. rokov 20. storočia. Preklady krátkych poviedok uverejňoval priebežne v rôznych časopisoch, príp. v samostatných výberoch vo vydavateľstvách.

srdca. I preto autor nakoniec nie je spokojný so svojím „obyčajným“, ľudským výtvorom. Posledná veta románu je vyjadrením neschopnosti a nespokojnosti s jazykovým stvárnením týchto pocitov: „To všetko raz napíšem aj presnejšie.“²⁷

Slovenský preklad adekvátne odovzdáva spektrum identifikovaných výrazových kategórií. Prekladateľka podporila Esterházyho osobitý idiolekt, špecifické formálne (najmä kompozičné a neverbálne textové štýly) i jazykovo postmoderné uchopenie témy.

Literatúra:

- ESTERHÁZY, P. (1985): *A szív segédigéi*. Budapest: Magvető.
- ESTERHÁZY, P. (2013a): *Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat*. Budapest: Magvető.
- ESTERHÁZY, P. (2013b): *Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia verzia*. Bratislava: Kalligram.
- ESTERHÁZY, P. (2009): *Pomocné slovesá srdca*. Bratislava: Kalligram.
- HUŤKOVÁ, A. (2015): Identita v hybridite – hybridita prekladu. In: *Mirrors of translation studies II. = Zrkadlá translatológie II*. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 47–61.
- MIKO, F. (1970): *Text a štýl*. Bratislava: Smena.
- NÉMETH, Z. (2000): *Olvasásrétorika*. Bratislava: Kalligram.
- ÖRKÉNY, I. (2004): *Nádej zomiera posledná*. Bratislava: Kalligram.
- PLESNÍK, Ľ. (2011): *Tezaurus estetických výrazových kvalít*. 2. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
- POPOVIČ, A. (1975): *Teória umeleckého prekladu*. Bratislava: Tatran.
- SZELE Zs. (2003): „Megírt“ tartomány. Esterházy Péter: *A szív segédigéi*. Dizertačná práca. Miskolc: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara. [Cit. 25-08-2018.] Dostupné na internete: <<http://phd.lib.uni-miskolc.hu/document/11964/3642.pdf>>

Summary

Expression of Pain in Slovak Translation of Helping Verbs of the Heart by Esterházy

The study analyses Slovak translation of a Hungarian novel: *Helping Verbs of the Heart/ A szív segédigéi* (1985)/ *Pomocné slovesá srdca*/ (translated by: Juliana Szolnokiová, 2009) by P. Esterházy. It is based on the categories of expression like subjectivity, authenticity, expressivity, intertextuality, provocativeness, and even vulgarity. These represent the key components of the analysed Esterházy's text, as well as the uncommon means of expressing the author's pain of losing his mother. The author of the study considers category of expression to be the minimal translation unit in a literary text (Miko 1970, Popovič 1975). Has Slovak translation succeeded in transferring particularity of the original text? Has the translator preserved the author's idiolect in the outlined expressional range? The minor topic the paper also discusses is intersemiotic translation (film adaptation).

Štúdia je čiastkovým výstupom projektu Vega č. č. 1/0551/16 Hybridita v jazyku, v texte a v translácii.

²⁷ „Mindezt majd megírom még pontosabban is.“

Selected theories of intercultural pragmatics applied to literary translation

Henrieta Kuzderová

University of Prešov in Prešov, Slovakia

henrieta.kuzder@gmail.com

Key words: literary translation, intercultural pragmatics, ideology, culture, interculture, cultural models, intercultural communication

The field of translation studies has noticed several shifts in the way of how theorists look at translation. These changes are called *turns in translation studies*. In the recent years quite a lot of attention has been paid to ideologies and their influence on translation. Culture and ideology are two aspects of society that tend to influence each other and it is rather difficult to differentiate between the two. As Peter Fawcett asks in his study: “Is all human activity ideologically motivated? When is something ‘ideology’ rather than just ‘culture’? What is the difference?” (Baker, 1998, p. 106) *Ideological turn* in translation studies was preceded by, among others, so called *cultural turn*. Culture plays a great role in analysing translation. Cultural studies and translation studies are closely related, as translations is a type of intercultural communication. The need of cooperation of these two fields was already emphasised by Susan Bassnett (1998), she even speaks of so called *translation turn in cultural studies*. István Kecskés deals with intercultural communication and its specific features in his work *Intercultural Pragmatics* (2014). In the present paper, attempts were made to discuss translation as a form of written communication that is of intercultural nature from the point of view of selected theories and insights presented by Kecskés in his aforementioned publication.

The present paper is divided into several subchapters according to the chosen theories presented by Kecskés. His claims and ideas are confronted with other theories from the field of translation studies and are viewed from the point of view of their possible application to literary translation. It is discussed whether the theories which, in his publication, are mainly applied to and illustrated on spoken communication also work for written translations. To provide examples from an authentic translated text, a book by Peter Pišťánek *Rivers of Babylon* (originally written in Slovak) and its English translation by Peter Petro were chosen. The aim of the paper is to find out whether the selected notions of intercultural pragmatics presented by István Kecskés can be applied to literary translation or to what extent. Four selected insights presented by István Kecskés in his *Intercultural Pragmatics* (2014) are discussed in the following chapters: *discourse-segment perspective*, *third culture* and *intercultures*, *pragma-dialogue* and *pragma-discourse*, *cultural models* and *encyclopaedic knowledge*. An emphasis is laid on the strong connection between language, culture and the currently widely debated ideology. It is examined what implications it has for literary translation and the choice of translation strategies.

Discourse-Segment Perspective in the Process of Translating Literary Texts

Kecskés claims that in *intercultural pragmatics*, as opposed to “normal” pragmatics which he defines as “an utterance based inquiry” (Kecskés, 2014, p. 7), the communicators are “creative on discourse level rather than on utterance level” (ibid.). This happens due to their limited language proficiency. Let us first explain the terms *utterance* and *discourse*. *Utterance* can be understood as a realisation of a sentence i.e. a small meaningful unit in

communication. *Discourse* is something bigger, it is a group of utterances e.g. a dialogue. Intercultural communication differs from the “normal” so called intracultural communication which takes place within one language or culture. In communication, it is sometimes necessary to go beyond the utterance to be able to infer the meaning, to understand the whole message. One could argue that this happens in intracultural communication as well. There is always more to communication than pure words or sentences. Communication and language function in a social context and their participants are people, social beings. They live in a society which influences their behaviour. They are formed, guided and influenced by the society, culture, and ideology. (Lefevere, 1992; Baker, 2006) The immediate context is not always sufficient in communication, even if the communication proceeds within one culture and language. This may be caused by the use of *formulaic language* (Kecskés, 2014) i.e. fixed language expressions which are not always transparent and may have several meanings, mostly figurative. An example by Kecskés:

A: *Coming for a drink?*

B: *Sorry, I can't. My doctor won't let me.*

A: *What's wrong with you?*

The phrase *What's wrong with you?* may have at least two interpretations (concern in a friend's health and making fun of his attitude) while both are suitable for this context. The identification of the meaning can cause problems in intercultural communication. (ibid.)

Translation is a form of intercultural communication. Discourse-Segment Perspective, as presented in the theory of Intercultural Pragmatics appears to be reflected in the process of lexical choice and translation strategies used by translators. Translators are there to prevent possible misunderstanding and go “beyond the utterance” already during the process of translating. In translation, it can not only happen that a phrase has several possible interpretations suitable for the given context, sometimes there is no possible interpretation whatsoever as the concept is unknown in the target culture. This is especially true for the source elements of the text which are related to culture, politics and ideologies of the source culture. An example from the translation of *Rivers of Babylon*:

“*Sú tam samé predajne. Domáce potreby, drogéria, Mototechna a Kožatex.*”

“*There are only shops there. Shops selling household goods, a chemist's, a car parts shop and a leather goods shop.*”

The target reader of the English translation is most probably not familiar with, among others, a Slovak proper name *Mototechna* used for shops selling car parts. The translator expected the potential misunderstanding which could arise due to intercultural communication and he decided to use the translation strategy of *generalisation* – using a general term to ensure comprehensibility on the side of the target culture audience (Venuti, 1995) – and translated the word as *a car parts shop*. The same strategy was applied in the case of translation of the Slovak proper name *Kožatex* denoting a shop which sells leather goods.

It could be agreed that sometimes in communication utterance context is not sufficient, even the immediate context is sometimes not enough. In case of intercultural communication, even the background knowledge is sometimes of very little, if any, help as it is based on different cultural backgrounds. In case of literary translation, the communication, analogous to the discourse in spoken communication, is slightly different. It proceeds between the translator and the target reader. The means of this communication is the actual translation. The translator communicates the meaning, the ideas, the information, between the two cultures. The target readers can not ask the translator a question in case they are not sure what was meant by the individual translation decisions the translator used. Translators have to think about the possible misunderstanding or misinterpretation beforehand i.e. during the process of translating, and intervene in order to prevent misinterpretation, misunderstanding or in some cases even incomprehension, some words could be not understood at all if they hadn't been

adjusted to the target audience. The translators need to opt for various translation strategies and lexical choices in order to fulfil the function of translation i.e. to ensure effective communication between the source culture and the target culture.

The Third Culture and Intercultures

In case of any intercultural communication, something that is called *third space* emerges. It is defined by Kecskés as a space “that combines elements of each of the participant’s original cultures in novel ways.” (Kecskés, 2014, p. 13) If the participants of communication do not share the same language, such communication acquires new features, it is different. The same thing happens when translating literature. A translated book is neither something that would fit perfectly into the source language and literature nor a work of art which would smoothly harmonize with the target language and literature. It is something in-between created by the combination of both and so it creates and brings something new. A criterion for adequacy when evaluating a translation has been the “naturalness”. If the translation reads smoothly, fluently, as if it was a work written originally in the target language, it is considered “good”. However, a translation is not that easily made natural. The original may feel innate for the source culture, while the translation has to be made “natural” for the target culture. It is necessarily influenced by cultures and ideologies. If the translation feels smooth to the target reader, it must have “absorbed” the ideology and cultural models typical and normal for the target culture. The translator remains invisible as he creates this illusion of naturalness. This approach has been criticised by Lawrence Venuti, mainly in *The Translator’s Invisibility*. (1995) Is this illusion really necessary? Cultures might benefit from this “third space” – they could learn about the other cultures and become more tolerant, and maybe perceive the world from a slightly different point of view thanks to translations.

Interculture, similarly to third culture, is something evanescent, it appears in a conversation and then it disappears, as any type of speech usually does unless it is recorded. (Kecskés, 2014) This is the case of spoken communication. However, translations i.e. a type of written intercultural communication does not disappear. They form the above mentioned “third culture” and there remains the evidence of this intercultural interaction in the form of translated pieces of literature. It can not be said that the researchers in the field of translation studies do not care what will be left behind us, what interculture emerges and what third culture is being created, taking into consideration the numerous discussions and critical analyses of translations. Translation is something that will not disappear. That is why, it needs to be done carefully and with precision, it has to be criticised and worked on. Regarding the analysed novel (*Rivers of Babylon*), its translation itself creates third culture. It creates an invisible “bridge” between the two cultures. The target audience (reading the English translation) gets to meet and become familiar with the small European country, Slovakia, and its culture, the then ideology, political situation and the life of people.

An example from the novel:

“Na vojne skúšal fajčiť. Kto nefajčil, ten nebol chlap. Nikdy mu však cigarety nechutili. A keď mu raz kamaráti ako rotnému hlupákovi podali špeciálne preparovanú cigaretu, po ktorej z neho tieklo vrchom i spodkom, zanevrel na fajčenie a začal posilňovať a boxovať.”

“He tried smoking in the army. If you didn’t smoke, you weren’t a man. But he never liked the taste of cigarettes. And when his comrades gave him, as the dunce of the squad, a specially doctored cigarette that gave you squits as well as making you throw up, he went off smoking and took up body-building and boxing.”

In Slovakia, military service was mandatory at the time where the plot of the book *Rivers of Babylon* is set. An example from the novel illustrates the relationships within a group of soldiers who spent their time together while doing the military service and also the

perspective of a man who experienced the mandatory military service.

Pragma-dialogue and Pragma-discourse in the Process of Translating Literary texts

There are three basic sub-branches of pragmatics dealing with communication (Kecskés, 2014):

- a) *Pragma-Semantics* (focuses on the theory of language understanding)
- b) *Pragma-Dialogue* (stresses the dialogic nature of communication)
- c) *Pragma-Discourse* (focuses on the “third space” being created in communication)

Kecskés highlights the importance of the two approaches which apply the holistic top-down view (i.e. going beyond the utterance in analysis): Pragma-Dialogue and Pragma-Discourse. Pragma-Semantics is a traditional sub-branch dealing with communication, stating that the one who constructs the meaning is the hearer. The theory of pragma-discourse (the insight represented by István Kecskés) was partially covered in the subchapter discussing the notions of *third culture* and *third space*. Now, let us take a look at the Pragma-Dialogue. Both Pragma-Dialogue and Pragma-Discourse use the term *interlocutor* for a participant of communication rather than terms *sender* and *receiver* or *speaker* and *hearer*. Interlocutor stands for both roles as both theories stress the dialogic nature of communication i.e. the interlocutor performs both roles in communication. The key notion of Pragma-Dialogue, as its name implies, is the dialogue and the dialogic nature of communication. Dialogue is defined as “a sequence of utterances, a reciprocal conversation between two or more entities.” (Kecskés, 2014, p. 10) This implies that when we speak, we always perform a certain action which then receives a reaction. An example provided by Kecskés:

Action-directive BILL: Can I get a cup of coffee?

Info-request SARA: Milk?

Signal-nonunderstanding BILL: Hm?

Info-request SARA: Do you want your coffee black?

Agreement BILL: Oh yes, thanks.

These kinds of ellipses and language economy are typical of everyday communication. Much information can be inferred from the immediate context or using the background knowledge. In case of misunderstanding, an interlocutor may send out a signal which is then reacted on and so the effective communication proceeds. How does this work in translation? The role of a translator translating a piece of literature is undoubtedly not easy. The target language reader cannot really ask the author what he meant by a word or a phrase in the translation. Of course, they can always google it and try to find some sources that could help; however, this is not usually expected of those reading fiction. Reading scientific literature usually requires further search for information and reading in order to understand the point. Literary translation, however, should be read for pleasure and the reader should not be disturbed by too many words or phenomena they do not understand. Similarly to Discourse-Segment Perspective, Pragma Discourse, as presented in the theory of Intercultural Pragmatics by Kecskés (2014) also seems to reflect in the process of lexical choice and translation strategies used by translators. The task of a translator is to “get into the head of a future reader” and look at the source text through their eyes in order to be able to see the points which probably might not be easily understood. Then the translator has to adjust, tailor the text into a form that is adequate for the target reader. They have to predict what might go wrong, all those situations that would be easily solved in a traditional dialogue in spoken communication. Thus, when working on a literary translation, the translator seems to perform the above mentioned actions and reactions in his head. An example of a possible inner dialogue of this kind could be illustrated on a choice made by the translator translating the analysed novel (*Rivers of Babylon*) into English.

“...*poľnohospodárska škola*...” “...*agricultural college*...”

The word *škola* could be easily translated as *school*. In Slovak, *poľnohospodárska škola*

denotes either a secondary school, one which trains its students for a particular job, or a type of university study programme in the field of agriculture. In the analysed book, the main character claims to have studied at the *poľnohospodárska škola* for two years i.e. it can be assumed that he had studied at a university. In Slovak, in informal communication, people tend to use the word *škola* for each level of education. However, the English word *school* is rather associated with an education place for children. Would the target reader understand the concept if it was translated as *agricultural school*? This might have been one question that the translator asked himself during the process of translating and deciding on which translation strategy to use. He must have answered it himself, though. The concept was translated as *college*, the translator opted for a word that is known and used in the target culture, he used the strategy of *domestication*, a translation equivalent denoting a concept which is familiar to the target culture. (Venuti, 1995) The translators need to opt for various translation strategies based on the text they are translating. One of the ways of how to give the target culture reader the idea of various concepts of the source culture is to use aforementioned strategy of domestication.

Cultural Models and Encyclopaedic Knowledge

Socio-cognitive approach is the approach favoured by István Kecskés in *Intercultural Pragmatics*. This approach is based on the theory that linguistic system is rooted in the conceptual system. (2014) The language that we use is influenced by our knowledge, our perception of the world. How we perceive the world is dictated by the society we live in, by our cultural background. Similar insights have been presented by several theorists in the field of translation studies like Mona Baker or André Lefevere, to name but a few. In her *narrative theory*, Baker defines *narratives* as “the stories we live by.” (2006, p. 3) They are influenced by society, culture, ideology and they have an impact on our behaviour as well as on our language behaviour etc. Lefevere similarly claims that “translations are not made in a vacuum. Translators function in a given culture at a given time. The way they understand themselves and their culture is one of the factors that may influence the way in which they translate.” (1992, p. 14) How we use language, be that speech, writing, or translation, depends on how we perceive the world.

Encyclopaedic knowledge, defined as “a structured system of knowledge, organised as a network” (Kecskés, 2014, p. 82) of individuals is created during their life, it is shaped and formed gradually. The structure of encyclopaedic knowledge is built on so called *cultural models*. This concept has been used by several theorists but named by various terms (*schemas, frames, models, scripts*), all denoting the same concept. *Cultural models* are mental models which we acquire and store in our mind. It is how we perceive certain situations within our culture. If we experience a situation that looks familiar, we use cultural models to apply them on the situation and so we know what to expect etc. (Kecskés, 2014) Cultural models also have to be applied when translating a piece of literature. A translator has to bear in mind the presuppositions, cultural models and prevailing ideologies of both source and the target culture in order to be able to understand what is meant by the text and then be able to pass it to the target audience. An example from the analysed novel:

“So ženou sa dávno rozviedol, domov nemá a po slobodárňach sa mu bývať nechce.”

“He divorced his wife a long time ago, he has no home and he won’t sleep in a dormitory.”

The translator decided to translate the word *slobodárňach* (the nominative *slobodáreň*) as *dormitory*. The word *slobodáreň* is derived from the word *slobodný* meaning not married and it describes a type of cheap accommodation that used to be provided by government to single people. It resembles living in a dormitory which could have been the reason why the translator opted for this generalised equivalent. This type of accommodation was provided at

the time when the plot of the analysed book takes place. The political regime in Slovakia was different than the one in the target readers' culture (English speaking countries). This is why the translation of the term had to be adapted to the target cultural models. It can be stated that the translator used a combination of two translation techniques introduced by Venuti – *generalisation*, using a general term, and so called *domestication*, using a word denoting a concept which is familiar to the target culture. (1995)

To sum up, theories related to ideology and culture in the field of translation studies seem to share common ground with intercultural pragmatics. Translation is also a form of intercultural communication. It can be seen that the choice of translation strategies used in the analysed literary translation of Pišťanek's *Rivers of Babylon* is influenced by cultural differences and presuppositions. These are embedded in culture, society and language and needed to be taken into consideration during the process of translating. The translator of the novel applied several translation strategies e.g. domestication, generalization.

In case of critical discourse analysis, it is crucial to look at translated texts from a broader perspective, to go beyond the utterance, as emphasised by Kecskés in his approach to analysis of intercultural communication. The reason for this is the already mentioned fact that each literary text, including translations, emerges in a certain context, in a certain society. These factors influence the texts and this impact tends to be more visible when applying a top-down view. Society, culture and ideology play their role in shaping cultural models. These models, discussed within the field of intercultural communication, are especially important in literary translation. Translators have to feel and master the possible presuppositions of both source and target culture in order to be able to transfer them properly so that they suit the cultural schemas of the target audience.

In conclusion, theories related to ideology and culture in the field of translation studies and intercultural pragmatics share common ground. Several insights of intercultural pragmatics can be applied to literary translation and may result in some interesting connections, implications and arouse questions for further research.

Bibliography:

- BAKER, M. (1998): *Routledge encyclopedia of translation studies*. London: Routledge.
 BAKER, M. (2006): *Translation and conflict: a narrative account*. London: Routledge.
 BASSNETT, S. – LEFEVERE, A. (1998): *Constructing cultures: Essays on Literary Translation*. Clevedon: Multilingual Matters.
 BASSNETT, S. – LEFEVERE, A. (1992): *Translation/history/culture: a sourcebook*. London: Routledge.
 KECSKÉS, I. (2014): *Intercultural pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
 LEFEVERE, A. (1992): *Translation, rewriting, and literary fame*. London: Routledge.
 PIŠŤANEK, P. (1991): *Rivers of Babylon*. Bratislava: Archa.
 PIŠŤANEK, P. – PETRO, P. (2007): *Rivers of Babylon* (translation). London: Garnett Press.
 VENUTI, L. (1995): *The translator's invisibility: a history of translation*. London: Routledge.

Summary

Selected Theories of Intercultural Pragmatics Applied to Literary Translation

The present study attempts to answer the question whether the selected theories and notions of intercultural pragmatics presented by István Kecskés in his *Intercultural Pragmatics* (2014) can be applied to literary translation or to what extent. Bearing in mind the ideological turn in translation studies, four selected insights are discussed: discourse-segment perspective, third culture and intercultural models, pragma-dialogue and pragma-discourse, cultural models and encyclopaedic knowledge. An emphasis is laid on the connection between language, culture and the currently widely debated topic of ideology. The paper points out the possible implications of intercultural pragmatics for translation strategies and solutions used in literary translation.

До питання про стан сучасної української мови крізь призму вітчизняного словникарства

Юлія Сергіївна Макарець

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
makarets_iuliia@ukr.net

Ключові слова: українська лексикографія, словник, анорматив, деформація мовної системи, мовна політика, мовна ідеологія

Keywords: Ukrainian lexicography, dictionary, abnormal unit, deformation of the language system, language policy, language ideology

Екологія мови значною мірою залежить від якості лексикографічних праць, у яких закріплений її стандарт. Лексикографічний масив становить «мовний кодекс», на норми якого має орієнтуватися мовець. Під час підготовки фахівців, які писатимуть або правитимуть тексти (редакторів, журналістів, вчителів-філологів та ін.), їх навчають працювати зі словниками як дороговказом у ситуаціях, коли виникає сумнів щодо нормативності мовної одиниці чи її форми. Та в умовах української дійсності, коли словникарство й досі відчуває на собі наслідки радянської ідеологічної боротьби з проявами «націоналістичного шкідництва» на «мовному фронті», користувач має бути прискіпливим, аби розпізнати штучно введені в словник анормативи, та виявляти прагнення до наукового пошуку, аби віднайти вилучені питомі українські одиниці.

Вітчизняне словникарство, його історія та сучасний стан неодноразово ставали об'єктом наукового інтересу дослідників. Їх вивченню присвятили праці П. Горецький, О. Кочерга, А. Москаленко, В. Німчук, Л. Паламарчук, Д. Пилипчук, І. Світличний, О. Тараненко, І. Фаріон та ін. Одним з важливих питань залишається з'ясування напрямів і меж втручання більшовицьких ідеологів в укладання лексикографічних праць з української мови. Редагування словників за радянської доби зумовило штучну деформацію «мовного стандарту», що закономірно позначається на уявленні тих, хто ними користується, про деякі компоненти та тенденції мовної системи. Відійшовши від політики безпосередніх заборон на українську мову, якої дотримувалася Російська імперія і яка наражалася на безпосередній опір мовців, радянська влада зосередилася на питаннях соціального престижу й економічної вартості мови та на асиміляції самої мовної системи, результатом чого в Україні й стали радянський правопис та редаговані словники. Стійкість багатьох анормативів у мовленні сучасних українців безпосередньо пов'язана з тим, що вони були штучно введені в реєстри останніх. Так, наприклад, засоби масової інформації, редактори яких орієнтовані на словники, такі одиниці не просто зберігають, а й транслюють на загаль, що сприяє їх подальшому поширенню й закріпленню. Тож необхідним є розуміння, що вітчизняне словникарство досі не було остаточно деколонізоване й подекуди хвиє на рудименти радянської «боротьби зі шкідництвом на мовному фронті». Метою пропонованої наукової розвідки є окреслення причин та напрямів ідеологічного втручання радянської системи в українське словникарство.

На початок 30-х років XX ст., коли радянська влада розпочала масову боротьбу з «націоналістичним шкідництвом», вітчизняна лексикографія уже мала чим пишатися. У 1907-1909 рр. побачив світ «Словарь української мови» Б. Грінченка, у якому засвідчені тенденції української мови XVIII-XIX ст. У 1918 р. вийшов «Російсько-український словник» С. Іваницького та Ф. Шумлянського. У цей час при

новоствореній Українській академії наук почали діяти Постійна комісія для складання словника живої української мови, яку очолив А. Кримський, і Постійна комісія для складання історичного словника української мови, де головував Є. Тимченко. Протягом 1930-1932 рр. побачили світ два зошити першого тому «Історичного словника українського язика», а з 1924 по 1933 рр. вийшли три томи «Російсько-українського словника», але четвертий так і не був виданий. Укладачів і редакторів цих праць звинуватили в буржуазному націоналізмі й визнали ворогами українського народу, а аксіомою українського радянського словникарства стала теза, що вони «витравляли слова, тотожні з російськими, вводячи замість них споріднені терміни, архаїзми і вигадані, ніким не вживані слова, чужі живій мові українського народу...» (Українсько-російський словник, 1953, т. 1, с. 7).

Переламним для вітчизняного словникарства став 1933 р., на початку якого секретарем ЦК КП(б)У призначили П. Постишева. Він і реалізовував політику боротьби з «націоналістичним шкідництвом». У квітні відбулися нарада щодо національної політики в ЦК КП(б)У та перше засідання щойно створеної Комісії Наркомату освіти (НКО) з питань перевірки «роботи на мовному фронті». На засіданні комісії виступив А. Хвиля, заступник народного комісара освіти УСРР, з доповіддю «Націоналістична небезпека на мовному фронті й боротьба проти неї», і закликав «відкинути весь штучний, мертвий термінологічний матеріал, що його збудовано на основі буржуазно-націоналістичного підходу до складання української, наукової термінології,.. витравити буржуазно-націоналістичне оформлення українських словників,.. усталити технічну термінологію, уніфікувавши її з термінологією, що існує в усьому Радянському союзі» та «ввести радянську лексику, яка б відбивала могутній процес розвитку соціалістичного будівництва в усі нові словники» (Хвиля). Цей виступ ознаменував початок більшовицької боротьби «на мовному фронті». У 1933-1934 рр. масово з'являлися псевдонаукові розвідки на зразок «Націоналістичні перекирчування в питаннях українського словотвору» (П. Горецький), «Національне шкідництво в синтаксисі сучасної української літературної мови» (П. Горецький, І. Кириченко), «Термінологічне шкідництво і його теоретичне коріння» (О. Фінкель), «Націоналізм в етимології» (Н. Ліперовська), «Проти націоналістичного шкідництва в синтаксисі української літературної мови» (К. Німчинов) та ін.

У резолюції комісії НКО на доповідь А. Хвилі йшлося про те, що «мовна ділянка ідеологічного фронту, як частина цілого процесу нацкультбудівництва, вимагає особливо більшовицької пильності» (Кубайчук, 2004, с. 147). Вона ухвалила переглянути правопис і оголосила буржуазно-націоналістичними 15 термінологічних лексикографічних праць. Серед заборонених опинилися словники математичний, загальнотехнічний, електротехнічний, зоологічної, ботанічної номенклатури, природничої, технічної (мануфактура), механічної, будівельної, музичної, економічної, комунальної термінології, педагогічних і психологічних термінів, ділової мови, мірництва. Лексикографічні напрацювання Інституту наукової мови, Комісії Словника живої мови при Всеукраїнській академії наук, Комісії Історичного словника і почасти Інституту мовознавства оголосили такими, що засвідчують «несумісне з поглядами пролетаріату методологічне настановлення деяких наукових робітників.., що виявляється в штучному вигадуванні спеціально для словників слів нацдемівського типу, тенденційному підбиранні українських слів і цитатного матеріалу, де відбивається ідеологія ворожих радянській країні класів, а також у тлумаченні слів» (там само, с. 152).

Під радянську «чистку» потрапили не тільки словники. Науковці, які працювали над ними, були репресовані, багато хто – ще задовго до 1933р. у сфабрикованій справі «Спілки визволення України» (1930). С. Єфремова, віце-президента Української

академії наук, одного з головних редакторів Російсько-українського словника (1924-1933), засудили до 10 років ув'язнення (помер 31 березня 1939 р. за три місяці до закінчення строку). А. Ніковського, який працював над Словником живої мови, засудили до 8 років ув'язнення. В. Ганцова, який був керівником Комісії для складання словника української живої мови та співредактором «Російсько-українського словника», засудили до 8 років заслання. Г. Голоскевича, укладача «Правописного словника», засудили до 5 років заслання, де він і помер. Г. Холодний, керівник Інституту української наукової мови, засуджений до 8 років позбавлення волі, а в 1938 р. – до смертної кари. У цій самій справі засуджені й редактори Інституту української наукової мови: В. Дубровський (3 роки позбавлення волі, а 1937 р. – повторно до 10 років), М. Кривенюк (3 роки позбавлення волі умовно), К. Туркало (3 роки позбавлення волі умовно), В. Шарко (заслання на 3 роки) та ін. Вироки щодо цих людей 11 вересня 1989 р. Пленумом Верховного суду УРСР були скасовані «за відсутністю складу злочину» (Репресоване «відродження», 1993, с. 107). В. Підмогильного заарештували 1934 р. (розстріляли 3 листопада 1937 р. у концтаборі Соловецького монастиря), тоді ж ув'язнили і Є. Плужника, разом із яким він уклав «Російсько-український фразеологічний словник. Фразеологія ділової мови» (1926). Останнього засудили до розстрілу зі зміною вироку на 10 років ув'язнення в Соловецькому концтаборі, де Плужник і помер у 1936 р. Є. Тимченка заарештували 1938 р. і відправили у заслання на 6 років. О. Курило того ж року була засуджена на 8 років концтаборів. А. Кримського репресували в 1941 р., а за півроку він помер на засланні. Це далеко не повний список мовознавців, репресованих радянською владою через те, що були в опозиції до офіційного більшовицького ідеологічного, зокрема й мовного, курсу.

У 30-х рр. «правильним» напрямом мовного будівництва стало наближення системи української мови до російської. На практиці це виявилось в штучному перериванні багатьох тенденцій її природного розвитку, у вилученні питомих мовних одиниць та їх заміні такими, що близькі або й тотожні з російськими. Провідним мовознавчим установам, зокрема Інституту мовознавства, було доручено переглянути словники, аби очистити їх від «шовіністичного намулу» та узгодити з «правильними методолічними засадами» радянської лексикографії. Серед останніх – категоричне відкидання «нацдеміщини» («штучних, вигаданих, націоналістичного типу слів»), укладання реєстру словників з погляду важливості лексичних одиниць для культ- і соцбудівництва, відкидання «архаїзмів» та «провінціалізмів», надання переваги одиницям, «що становлять сталий мовний елемент» в українській і російській мовах, аби «не вносити штучної відмежованості», наведення ілюстративного матеріалу з творів радянських письменників та уникання текстів, що засвідчують ворожу пролетарській ідеологію (Кубайчук, 2004, с. 154).

Тож у лексикографічних працях наступних років лексичний фонд української мови зазнав суттєвої деформації. Відділ української літературної мови розглянув понад 15 словотвірних моделей української мови, які врешті постановив замінити такими, що більше відповідають тенденціям мови пролетаріату, тобто ближчі до російських. Так, наслідками «націоналістичного шкідництва», спрямованого на те, аби «відірвати українську мову від мови робітників», визнали (там само):

- переважання прикметників на *-ов(ий)*, які нібито сприяють полонізації української мови (а тому перевагу потрібно надавати формам на *-н(ий)*);
- заміну префіксом *зне-* префікса *обез-* у словах типу *обезголовити, обезчестити*;
- уникання іменників жіночого роду на *-к(а), -ч(а)* з процесуальним значенням типу *розробка, очистка*;

- наведення іменників дієслівного походження на *-ованн(я)* зі значенням наслідку (їх мали замінити форми на *-уванн(я)*);
- уникання іменників чоловічого роду з суфіксами *-щик, -чик*, які називають особу за видом діяльності, наприклад: *підводчик, майданик, рознощик, мурівщик*;
- оминання прикметників з компонентами *-подібн(ий)* і *-видн(ий)*;
- уникання прикметникових одиниць на *-очн(ий)* (типу *баночний, копієчний*), зокрема шляхом утворення похідних від іменників жіночого роду на *-к(а)* за допомогою суфікса *-(ов)ий*;
- вживання іменників на *-івник* замість форм на *-альник* (наприклад, *штампівник* замість *штампувальник*) та прикметників на *-івн(ий)* замість прикметників на *-увальн(ий)* (*шліфівний* замість *шліфувальний*) і активних дієприкметників теперішнього часу на *-уч(ий), -ач(ий)* та ін.

З'явилися списки лексичних одиниць і словотвірних моделей, на які повісили ярлик «націоналістичних рецептів», і яких потрібно було уникати. Замість них вводили кальки з російської мови: «Деякі редактори викреслюють з авторських рукописів слова, яких не знаходять у «зеленому» словнику. З таких слів вони складають заборонені словники» (Штепа, 2003, с. 245). Цілеспрямована деформація системи української мови була системною і постійно набирала обертів: «Невмотивовані примусові зміни української лексики, моделей творення слів та словосполук, граматичних конструкцій були... послідовними, глибокими та всебічними. Тут ідеться не про вплив чи переважання спорідненої мови, а про добре продуману діяльність чималої когорти фахівців (у передмовах до термінологічних бюлетенів їх названо «бригадами»), що мали на меті розхитати саму структуру мови, змінити її будову, допасувати її до законів іншої мови» (Кочерга, 2004).

Укладачі лексикографічних праць, що з'являлися в ці роки, мали триматися в межах приписів радянських ідеологів. У 1937 р., саме на хвилі репресій, був виданий «Російсько-український словник» С. Василевського і Є. Рудницького, який також розкритикували як «просякнутий націоналізмом», хоча укладачі намагалися враховувати рішення НКО. У 1948 р. вийшов «Русско-украинский словарь» на 80 тис. слів, який зажив слави «російсько-російського»: «Основні принципи його укладання – зовнішня подібність слів, калькування, убогість або відсутність синонімічних рядів, відсунення на другу позицію питомих слів, часто з ремарками *заст., діал., обл.*, значна частина вилученої лексики, поданої у словникові 1924-1933 рр. Натомість серед кращих прикладів «збагачення» нашої мови – *бариш, блокіровка, бравий, дерзкий, добро пожалувати, зновити, зівати, етаж, керосин, кирпич, кофе, лишній, мнимий, обломок, резина, салфетка, сахар, свекла* та ін.» (Фаріон, 2013, с. 121). Протягом 1953-1963 рр. з'явився «Українсько-російський словник» М. Пилинського, що відкрив шлях в українську мову пасивним і активним дієприкметникам і на наступні роки став нормативним довідником з української мови (Жайворонок, 2005). У 1968 р. побачив світ «Російсько-український словник» на 120 тис. слів, на кожній сторінці якого «бачимо сліди битви, що іноді увінчувалася почесною перемогою, а іноді – лише дипломатичним компромісом чи й зовсім невиправданою здачею позицій» (Світличний, 1990).

Наступною сходинкою українського словникарства радянської доби став 11-томний академічний тлумачний «Словник української мови» (СУМ-11), виданий протягом 1970-1980 рр. За виконану титанічну роботу провідним його авторам і редакторам присвоєне звання лауреатів Державної премії СРСР. «Ця багаторічна праця справедливо визнана вершиною української лексикографії. Вона такою фактично є і нині» (Німчук, 2012, с. 7). Доки не виданий повністю 20-томний «Словник української мови», СУМ-11 залишається основним лексикографічним джерелом української мови.

Його лексичний масив ліг в основу «Нового тлумачного словника української мови» в 4-ох томах (укл. В. Яременко та О. Сліпущко, 1998). Докладний аналіз останнього дав підстави мовознавцям твердити, що він є «скороченим варіантом «Словника української мови» в 11-ти томах з незначними доповненнями та змінами» (Німчук, 2012, с. 6). У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (головний редактор В. Бусел, 2001) тлумачення слів також тотожні з наведеними в СУМ-11, а от жодних прикладів слововживання немає.

«Словник української мови» в 11-ти томах зберігає потужний вплив на розвиток української лексикографії часів незалежності, залишаючись найавторитетнішою лексикографічною працею тлумачного типу. Однак пієтет мовників до цього словника все ж не повинен ставати на заваді усвідомленню, що укладачі не могли ігнорувати ідеологічні настанови радянської доби. У 70–80-і рр. ХХ ст. українські мовознавці мусили рахуватися з офіційно прийнятим постулатом, що «продуктивним явищем у розвитку словникового складу української літературної мови повоєнного періоду» є «активізація закладених у ній можливостей до словотворення за моделями, притаманними сучасній російській мові» (Русанівський, Винник, Горобець, 1983, с. 573). Його відкидання й презентація української лексичної системи у її національній своєрідності поставили б під сумнів як саму появу словника, так і можливість для його укладачів працювати на ниві україністики. Тому СУМ-11, відігравши свою роль у закріпленні «радянсько-російської норми української мови» (Фаріон, 2013, с. 17), зберігає релікти радянського курсу на «вирівнювання» української і російської мов. Некритичне ставлення до реєстру слів, наведених тлумачень і прикладів часто і стає причиною того, що «й досі пожинаємо плоди тодішнього «мовного лиха» (Кочерга, 2004).

Відколи в 1933 р. Комісія НКО для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній назвала уникання активних дієприкметників теперішнього часу націоналістичним «шкідництвом» (Кубайчук, 2004, с. 156), ці одиниці почали масово з'являтися в лексикографічних працях. Серед українських мовознавців були й ті, хто всупереч офіційно прийнятій теорії стверджував, що українська мова не знає активних дієприкметників (Антоненко-Давидович, 1991, с. 113-115), що вони для неї чужі й неприродні (Курило), однак їхні голоси губилися на тлі більшовицького реформування мовної системи. Потрапили ці одиниці й у СУМ-11. Тільки у 1-му томі активних дієприкметників теперішнього часу на *-ач-* (*-яч-*), *-уч-* (*-юч-*), *-ащ-* (*-ящ-*), *-ущ-* понад 50: *акаючий, атакуючий, бажаючий, беручий, бистротекучий, біжучий, благаючий, благословляючий, блукаючий, богобоящий, бриючий (політ), бродячий, букводрукуючий, вбиваючий, вбираючий, ведучий, везучий, веселящий (газ), вибілюючий, вивчаючий, вигасаючий, вимираючий, випромінюючий, вируючий, висячий, вищестоящий, виючий, вібруючий, відживаючий, від'їжджаючий, відпочиваючий, відражаючий, відсвіжуючий, відстаючий, відступаючий, віруючий, владущий, вражаючий, всевидючий, всевидющий, всевидячий, всевидящий, всезростаючий, всезнаючий, в'яжучий, в'янучий*. Сприяла цьому й настанова уникати деяких питомих прикметникових форм, зокрема із суфіксом *-івн-*, які в 30-х роках були потрактовані як «штучна перешкода» для проникнення форм, що сприяють зближенню російської та української мов. Подекуди СУМ-11 фіксує обидві форми – дієприкметникову й прикметникову на *-івн-*, наприклад: *пануючий* і *панівний, керуючий* і *керівний*. Однак все ж попереднє послідовне видалення прикметників із цим суфіксом вже мало негативний вплив на мовну систему, призвівши зокрема до «нездатності відрізняти прикметники на позначення активної здатності (рятівний, коливний, фільтрівний, йонізівний) та призначення (рятувальний, коливальний, фільтрувальний, йонізуювальний), не кажучи вже про те, що їх часто заступають активні дієприкметники,

що від часу їхнього примусового запровадження заповнили мову, наче бур'ян» (Кочерга, 2004).

Подібна ситуація склалася й з іменниками-назвами осіб за родом діяльності на *-чик, -щик*. Ці одиниці стали «мовною пошестю» (Мазурик, 2002, с. 300), масово увійшовши в словники радянської доби замість питомих українських слів. Чимало їх і в СУМ-11, наприклад: *бакенищик, банищик, барабанищик, газетчик, гонщик, денищик, доменищик, донощик, заготовщик, звощик, здищик, зломщик, льотчик, мільйонщик, наводчик, налащик, натурищик, обманищик, оцінищик, пайщик, перегинщик, перебіжчик, пильщик, поромщик, поставщик, псаломщик, рознощик, ящик*. Власне українські форми, якщо й потрапляли на сторінки лексикографічного видання, то не як одиниці реєстру, а в поясненні з позначенням «те саме, що». Наприклад: *пайщик* – ‘те саме, що пайовик’, *поромщик* – ‘те саме, що поромник’, *псаломщик* – ‘служитель православної церкви, що допомагає священикові під час богослужіння; дяк, причетник’, *обманищик* – ‘те саме, що обманник’.

Подібних одиниць, утворених за «ідеологічно правильними» словотвірними моделями, але чужих українській мові, у словники, зокрема в СУМ-11, потрапило чимало. Серед них:

іменники жіночого роду на *-к(а)*, що позначають технічні поняття: *анатомка, багатотиражка, бетономішалка, бронебійка, вечірка* у значенні ‘вечірня газета’, *викройка, відпечаток, врубівка, гранка, електродоїлка, заглушка, змичка, зчіпка, літучка, оперативка, рисувалка, технічка*;

віддієслівні процесові іменники на *-к(а)* (замість форм на *-енн(я), -нн(я)*): *верстка* ‘те саме, що верстання’, *вибраковка* ‘те саме, що вибраковування’, *выводка* ‘виведення коней із стайні для прогулянки або для огляду’, *выкладка* ‘дія за знач. викласти’, *выписка* ‘дія за знач. виписувати, виписати’, *выпічка* ‘те саме, що випікання’, *выплавка* ‘дія за знач. виплавляти і виплавити’, *выправка* ‘дія за знач. виправляти, виправити’, *вырізка* ‘те саме, що вирізування’, *высадка* ‘дія за знач. висаджувати і висадити’, *висилка* ‘дія за знач. висилати і вислати’, *вытяжка* ‘дія за знач. витягати, витягти’, *відкатка* ‘те саме, що відкочування’, *відстрочка* ‘те саме, що відстрочення’, *заготовка* ‘те саме, що заготівля’, *закупка* ‘те саме, що закупівля’, *заточка* ‘те саме, що заточування’, *поставка* ‘поставляння, постачання чого-небудь на певних умовах’, *обрубка* ‘дія за знач. обрубувати’, *прополка* ‘те саме, що прополювання’, *розкладка* ‘те саме, що розкладення і розкладання’;

прикметники на *-очн-*, утворені від іменників жіночого роду на *-к(а)*: *арочний, балочний, барочний, безматочний, безпересадочний, виставочний, гоночний, зйомочний, закупочний, закусочний, командировочний*. Їх закріпленню сприяла настанова на звуженні функціонування суфіксальної прикметникової моделі на *-ов(ий)*, проголошена НКО ще в 30-х роках. Було вирішено, що «протаскування» останньої в словники за наявності дериватів на *-н-* – результат «націоналістичного шкідництва», спрямованого на те, аби відірвати українську мову від мови пролетарів, сприяючи колонізації (Кубайчук, 2004, с. 160). У СУМ-11 же часто паралельно наведені прикметники з суфіксами *-н-* та *-ов-*, наприклад: *амальгамний* і *амальгамовий*, *ананасний* і *ананасовий*, *антрацитний* і *антрацитовий*, *асфальтний* і *асфальтовий*, *атласний* і *атласовий*, *аустенітний* і *аустенітовий*, *багатоколірний* і *багатоколіоровий*, *баєвий* і *баєчний*, *баклажанний* і *баклажановий*, *балконний* і *балконовий*, *барокковий* і *барочний*, *бергамотний* і *бергамотовий*, *бетонний* і *бетоновий*, *біметалевий* і *біметалічний*, *богослужбний* і *богослужбовий*, *гіпюрний* і *гіпюровий*, *глетчерний* і *глетчеровий*, *графітний* і *графітовий*, *кардамонний* і *кардамоновий*, *кармазинний* і *кармазиновий*, *каталоговий* і *каталожний*, *качанний* і *качановий*, *клапанний* і *клапановий*, *купоросний* і *купоросовий*, *ладанний* і *ладановий*.

Разом із тим подекуди наведений тільки варіант із суфіксом -н-: *альманашний, бастионний, авангардний, ямбічний*;

дієслова іншомовного походження з суфіксом -ир- (-ір-) (та похідні від них): *буксирувати, вигравірувати, відбуксирувати, задрاپірувати, гравірувати, парирувати, дезертирувати*. Українській мові властиві деривати на -ова-, які подекуди паралельно наведені й у СУМ-11: *вигравірувати і вигравіювати, відбуксирувати і відбуксувати, задрاپірувати і задропувати*.

Наведені приклади втручання в природний розвиток системи української мови не вичерпують усіх напрямів деформації та різновидів уведених аномативів. У словник потрапило й чимало інших слів, утворених за моделями російської мови: прикметників із компонентом -творний (*гноєтворний, горотворний, формотворний, кровотворний, теплотворний*) та -подібн(ий) і -видн(ий), що звело до мінімуму використання прикметників із суфіксами -аст-, -уват-, -ат-, -ист- (*голкоподібний, гроноподібний, грушовидний, дзвоникоподібний, долотоподібний, змієподібний, зонтиковидний і зонтикоподібний, лопатоподібний, маятникоподібний, серповидний і серпоподібний, серцевидний і серцеподібний, спіралеподібний, тюльпаноподібний*); іменників із компонентами -вод (*ляльковод, вівцевод, голубовод, собаковод*); дієслів із префіксом обез- (*обезбарвити, обезболити, обезвладнити, обездолати, обездушити, обезжирити, обезкровлювати, обезлюднити, обезнадіяти, обезрибити, обезсилити, обезсмертити, обезталанити*) та ін. Були штучно змінені результати «природного добору» серед словотвірних моделей іменників-назв мешканців населених пунктів: у словнику з'явилося чимало похідних на -анин (-янин), -чанин, якими заміняли усталені в українській мові деривати, зокрема з суфіксом -ець (на початок ХХ ст. саме ця модель переважала). Б. Антоненко-Давидович зазначав, що «появу дивовиж полтавчанин, лубенчанин, канівчанин можна пояснити лише втратою мовного чуття, забуттям законів словотворення й чергування звуків (для появи звука /ч/ треба, щоб у назві був звук /к/: порівняйте: м. Гребінка – гребінчанин, хоча природним є також гребінківець)» (Антоненко-Давидович, 1991, с. 240). Тому в СУМ-11 знаходимо *ассіріянин і ассіріянка* поряд із *ассірієць та ассірійка*, *горянин* поряд із *горець, датчанин і датчанка* замість *данець і данка, кримчанин* поряд із *кримчак, полтавчанин* поряд із *полтавець* та ін.

Зазнало змін значення багатьох префіксів за аналогією подібних з російської мови. Так, «роз- замість притаманної йому семантики руху із середини, поширювання, подрібнювання (*розбурхувати, розсипати, розбирати...*) став аналогом російського раз- (*роздруковувати замість видруковувати*),.. префікс від- став аналогом російського от- і дістав функцію передавати доконаний вид замість з- та по- (*відрегулювати, відремонтувати, відредагувати...* замість *зрегулювати, поремонтувати, зредагувати*)» (Кочерга, 2004).

Уведено чимало лексичних кальок з російської мови, наприклад: *баня* (у значенні 'лазня'), *бедро* (у значенні 'стегно'), *безвідлучно, болільник* у значенні 'вболівальник', *висказувати* у значенні 'висловлювати', *ВУЗ, дальній, житлоща, заключний, ігровий, командировка, основоположний, почитити, точка зору, учбовий, штатський*. У СУМ-11 мовець знайде й чимало інших слів, щодо яких застерігають сьогодні порадики з культури української мови, наприклад: *відказ* у значенні 'відмова', *відкритка* (листівка), *відносини* у значенні 'стосунки', *включати* у значенні 'вмикати', *гадати* у значенні 'ворожити', *даний* у значенні 'цей, наявний', *застопорюватися, назад* у значенні 'тому', *об'ява, парик, поставляти* у значенні 'постачати', *рибалка* у значенні 'риболовля', *слідкувати* у значенні 'стежити', *суміщати* у значенні 'поєднувати'.

Представлені в словнику й невластиві українській мові синтаксичні конструкції. Наприклад, трикомпонентна пасивна конструкція, утворена дієсловом пасивного стану на -ся, іменником, що називає суб'єкта дії, у формі орудного відмінка та іменником-

назвою об'єкта в називному відмінку. Такі конструкції уведені за аналогією до книжних стилів російської мови. Наприклад: РЕДАГУВАТИСЯ (т. 7, с. 481) – 'пас. до редагувати': *Всі органи преси, що перебувають в руках партії, повинні редагуватися надійними комуністами, які довели свою відданість справі пролетарської революції* (Ленін, 41, 1974, 195); РОЗГЛЯДАТИСЯ (т. 7, с. 649) – 'пас. до розглядати': *Апеляції виключених з партії або тих, що дістали стягнення,.. розглядаються відповідними партійними органами в строк не більше місяця з дня їх надходження* (Статут КПРС, 1971, 10); СПОСТЕРІГАТИСЯ (т. 9, с. 580) – 'пас. до спостерігати': *У серпні Персеїди становлять 70 процентів усього числа метеорів, які спостерігаються неозброєним оком* (Веч. Київ, 19.VIII 1961, 3). Широко представлені в словнику й двокомпонентні пасивні конструкції, утворені дієсловом на -ся та іменником, що визначає об'єкт, у формі називаного відмінка. Ними штучно замінені питомі українські безособові конструкції з формами на -но, -то, що мали давню традицію вживання. Наприклад: АНАЛІЗУВАТИСЯ (т. 1, с. 42) – 'пас. до аналізувати': *Другого дня на заняттях, де аналізувалися наслідки вчорашньої стрільби, лейтенант показував усім, у чому помилка Цимбала* (Багмут, Служу Рад. Союзу, 1950, 40); ВИВЧАТИСЯ (т. 1, с. 369) – 'пас. до вивчати': *В Інституті біохімії Академії наук СРСР вивчається біохімічна природа спокою рослин і стійкості їх до мікроорганізмів* (Рад. Укр., 6.I 1965, 1); КЕРУВАТИСЯ (т. 4, с. 144) – 'пас. до керувати': *Коли прийшла допомога, корабель уже не міг керуватись* (Ткач – Моряки, 1948, 44). Масовість таких конструкцій у словнику забезпечувало переважне наведення ілюстративного матеріалу з радянських періодики та літератури, що також засвідчує прагнення радянських ідеологів «звести фонд лексики українського народу до лексичного фонду партійних періодичних видань та російської термінологічної лексики» (Яременко – Сліпушко, 2001, т. 1, с. 5).

Поки новий тлумачний «Словник української мови» в 20-ти томах ще не виданий повністю, вирішальну роль у відновленні спотворених норм української мови та віднайденні вилучених слів відіграють порадики з культури української мови. Це праці опозиціонерів радянського мовознавства Б. Антоненка-Давидовича («Як ми говоримо?», 1969-1970), І. Світличного («Новий словник. Який він?», 1968), С. Караванського («Секрети української мови», 1994; «Пошук українського слова, або Боротьба за національне «Я», 2001; «До зір крізь терня, або Хочу бути редактором», 2008; «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України», 2017), до яких тогочасний режим неодноразово застосовував репресивні заходи, та сучасних українських лінгвістів, які долучилися до справи оздоровлення екології української мови. Серед напрацювань останніх: «Основи культури мовлення» Н. Бабиш (1990), «Культура української мови» (за ред. В. Русанівського, 1990), «Антисуржик» О. Сербенської (1994), «Культура слова. Мовностилістичні поради» О. Поно марева (1999), «Культура мови на щодень» (за ред. С. Єрмоленко, 2002), «Екологія українського слова» М. Білоус та О. Сербенської (2005), «Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання» М. Волощак (2007), «Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)» І. Фаріон (2009), «Розмовляймо українською. Мовознавчі етюди» І. Вихованця (2012), «Українське слово у вимірах сьогодення» К. Городенської (2014) та ін.

Тож вітчизняна лексикографія досі відчуває на собі наслідки радянської асимілятивної мовної політики. Протягом кількох десятиліть у словники закладали одиниці й форми, що мали наблизити українську мову до російської, відсуваючи питомі на задній план або просто вилучаючи їх. Академічний тлумачний «Словник української мови» в 11 томах, який досі залишається головним мовним орієнтиром, також увібрав у себе чимало таких аномативів, адже з'явився у 1970–1980-і рр., коли

неможливо було не рахуватися із радянськими ідеологічними настановами. Поступово вони перекочували і в багато словників, укладених вже в добу незалежності, адже основою для них став СУМ-11. Тож чимало нетипових для української мови слів і форм з'являються у мовленні українців не тільки як наслідок незнання, а й у випадку намагання слідувати канонам, закріпленим у словниках. У зв'язку із цим нагальним питанням стає захищення лексичної системи української мови від штучних деформацій, зокрема шляхом укладення нового словника та чіткого визначення тих анормативів, які з'явилися в реєстрі словників через радянську «боротьбу з націоналістичними перекозченнями на мовному фронті».

Література:

- АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ, Б. (1991): *Як ми говоримо?* Київ: Либідь.
- БІЛОДІД, І. (1970–1980): *Словник української мови: в 11 томах*. Київ: Наукова думка.
- БУСЕЛ, В. Т., ed. (2005): *Великий тлумачний словник сучасної української мови*. Київ; Ірпінь: Видавничо-торгова фірма Перун.
- ВИХОВАНЕЦЬ, І. (2012): *Розмовляймо українською: мовознавчі етюди*. Київ: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ.
- ГОРОДЕНСЬКА, К. (2014): *Українське слово у вимірах сьогодення*. Київ: Компанія Медіа Майстер.
- ЖАЙВОРОНОК, В. (2005): Лексикологія та лексикографія. In: *Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України – 75 (1930–2005). Матеріали до історії*. Київ: Довіра.
- КАЛИНОВИЧ, М. Я., ed. (1962): *Русско-украинский словарь*. Київ: Вид-во АН УРСР.
- КИРИЧЕНКО, І. М., ed. (1953–1963). *Українсько-російський словник: у 6-ти томах*. Київ: Вид-во АН УРСР.
- КОЧЕРГА, О. (2004): Мовознавчі репресії 1933 року – джерело теперішніх мовних проблем. In: *Журнал «І»*, 2014/35 [Цит. 2018-07-16.]
Режим доступу: <<http://www.ji.lviv.ua/n35texts/kocherha.htm>>
- КУБАЙЧУК, В. (2004): *Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови)*. Київ: К.I.C
- КУРИЛО, О. (1925): *Уваги до сучасної української літературної мови* [Цит. 2018-07-16.] Режим доступу: <<http://kurylo.wikidot.com/1-prykmetnyky-diieslivnoho-pokhodzhennia>>
- МАЗУРИК, Д. (2002): Продуктивність суфіксального творення неологізмів-іменників у сучасній українській мові. In: *Актуальні проблеми українського словотвору*. Івано-Франківськ: Плай.
- НІМЧУК, В. (2012): Про сучасну українську тлумачну лексикографію. In: *Українська мова*, 2012/3, с. 3–30.
- ПОНОМАРІВ, О. (2008): *Культура слова. Мовностилістичні поради*. Київ: Либідь.
- РУСАНІВСЬКИЙ, В. М. – ВИННИК, В. О. – ГОРОБЕЦЬ, В. Й. та ін (1983): *Історія української мови: Лексика і фразеологія*. Київ: Наукова думка.
- СВІТЛИЧНИЙ, І. (1990): *Новий словник, який він?* [Цит. 2018–07–16.] Режим доступу: <http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%86_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BD%3F>
- СИДОРЕНКО, О. І. – ТАБАЧНИК Д. В., eds. (1993): *Репресоване «відродження»*. Київ: Україна.
- ФАРІОН, І. Д. (2013): *Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)*. Івано-Франківськ: Місто НВ.
- ХВИЛЯ, А. (1933): *Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті*. [Цит. 2018-07-16]. Режим доступу: <http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0>

%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96>

ШТЕПА, П. (2003): *Московство*. Дрогобич, Львів: Видавнича фірма Відродження.

ЯРЕМЕНКО, В. – СЛІПУШКО, О. (2001): *Новий тлумачний словник української мови: у трьох томах*. Київ: Видавництво Аконіт.

Summary

On the State of Modern Ukrainian Language through the Prism of National Lexicography

The article deals with fixation in the dictionaries of the Ukrainian language, which were concluded in the Soviet era, of deformed lexical norms, which today is one of the reasons for the stability of lingual distortions in speech of Ukrainians. The main directions of the Soviet 'fight' against 'nationalistic distortions' at the 'language front' were determined, as well as those language abnormalities were identified, which appeared in the register of domestic dictionaries (in particular, in the academic 'Dictionary of the Ukrainian Language' in 11 volumes) in order to bring the Ukrainian lexicon closer to the Russian one, and those, which, on the contrary, were removed.

Hybridizácia a hranice subjektu

Mária Regecová

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
majabiro16@gmail.com

Kľúčové slová: subjekt, Eva Luka, transformácia, hybrid, alter ego, dichotómia, odcudzenie

Key words: subject, Eva Luka, transformation, hybrid, alter ego, dichotomy, theft

Subjekt je podľa Všeobecného encyklopedického slovníka považovaný za nositeľa vlastností, stavov a dejov (porov. Paulička, 2002 III, s. 324). Z gnozeologického hľadiska podľa Slovníka cudzích slov je definovaný ako protiklad objektu, poznávajúce ja existujúce v podobe čistého vedomia, alebo v podobe empirickej, racionálnej, cítiacej, voľnej a konajúcej osoby (porov. Petráčková – Kraus, 2005, s. 254). V diele Evy Luky¹ si subjekt nezachováva prisudzovanú autonómnosť, ale pod vplyvom okolností a prostredia sa obmieňa, diferencuje, deformuje, odcudzuje a vytvára alter egá – „druhé ja“ (Paulička, 2002 I, s. 108), ktoré často vystupuje ako samostaná bytosť a neraz koná v rozpore s pôvodným egom. Eva Urbanová tieto premeny lyrickej hrdinky pomenúva termínom metamorfózy, ktoré sú podľa jej slov vyjadrením „druhého ja“ a pokusom o priblíženie sa k nemu (porov. Urbanová, 2012, s. 92). S týmto vyjadrením sa možno plne stotožniť a doplniť ho o fakt, že metamorfózy pramene zo snahy o jasnejšie priblíženie skrytého vo vzťahu k iným subjektom, respektíve podľa slov Jaroslava Šranka motív premeny v Lukiných textoch, zrkadlenie, alter egá, vysúvanie subjektu do druhej či tretej gramatickej osoby a pod. zdôvodnený ako zastieranie tendencie maximálnej obnaženosti výpovede pluralitného, mnohorozmerného a dynamického konceptu ženskej identity (porov. Šrank, 2013, s. 323), vyjadrenie zložitosti a rozporuplnosti komplexnej výpovede a odcudzenie sa sebe samému. Premeny lyrického subjektu i prostredia v diele Evy Luky sú zapríčinené vysokým stupňom duševného i fyzického obnaženia a naturalizácie a vyjadrením rôznorodého koloritu lyrickej hrdinky ako ženy (porov. Šrank, 2013, s. 324). Majúc na pamäti pramene, z ktorých autorka čerpá (japonská kultúra, rozprávky, antické mýty, európska kresťanská tradícia) a prežité tragické udalosti v osobnom živote (porov. Gavura, 2012, s. 144), javia sa štylizácie lyrického subjektu do podoby transformovaných bytostí či vytváranie alter eg ako prirodzené.

Transformácia, premena môže parciálne obmieňať subjekt i priestor („medzi prstami žabacia blana“, 2011, s. 16, „jasnozrivá ryža“, 2005, s. 17, „jednorohý vystupujúci z obrazov“, 2005, s. 15, „vtáci mužiček“, 2011, s. 16) a narušiť kontakt s realitou do určitej miery, alebo môže premena komplexne pohltiť subjekt či priestor (havranjel, diabloň, svetloplach), čím dochádza k absolútnej deformácii subjektu i jeho nazerania na svet. Subjekt sa odsudzuje svojmu pôvodnému ja a vzniká nová, mentálne i fyzicky odlišná, bytosť či objekt – hybrid.

Podnety premeny subjektu i prostredia nie je vždy možné odčítať z textu. Ojedinele je dôvod premeny explicitne vyjadrený, napr. môže nastať na základe čuchových vnemov „sklené nádoby s horúcim dychom... / na okamih sa stávam / rajkou, nebeským vtákom“ (1999, s. 45), častejšie je motivácia metamorfózy subjektu či prostredia nejasná, zahmlená,

¹ Eva Luka, vlastným menom Eva Lukáčová – pod občianskym menom vydala prvú zbierku Divosestra, ďalšie dve pod pseudonymom Eva Luka – sa narodila 28. júla 1965 v Trnave. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo – angličtina, japončina; v štúdiu pokračovala na Hokkaidskej univerzite v Sappore a na Ósackej univerzite. V súčasnosti sa venuje tlmočeniu a prekladaniu z japončiny. Získala viacero ocenení v literárnych súťažiach a v roku 1999 sa stala laureátkou prestížnej literárnej súťaže RUBATO. – porov. Literárne informačné centrum.

prezentuje sa ako konečný stav „cez sklo kaviarne nakúka polopriesvitný anjel, / žmurkne a rozplynie sa.“ (1999, s. 57) Lyrický subjekt sa pri zobrazovaní sveta nesnaží zistiť príčinu jestvovania rôznych hybridov či metamorfóz subjektov a javov, prezentuje ich prítomnosť ako prejav rôznorodosti existencie a vyjadruje existenciu plurality hlasov a subjektov.

Metamorfózy v diele Evy Luky nadobúdajú rôzne formy. Fyzická dichotómia (rozdelenie na dve časti) lyrického subjektu, najvýraznejšie viditeľná práve v prvej zbierke, nastáva z dôvodu psychickej rozpoltenosti, ktorú subjekt zažíva vo vzťahu k synovi a kvôli životu v dvoch krajinách („tvár mám rozpoltenú / ako mesiac, pozerám sa / na teba teraz tou tmavšou časťou“, 1999, s. 31, „vzliekam si svoj starý život“, 1999, s. 58, „spomienky a prítomnosť splývajú, / vidím dva svety naraz“ 1999, s. 59). Z rovnakých dôvodov je rozdvojenosť prítomná v psychologických ponoroch, keď sa lyrický subjekt snaží počas návratu domov definovať svoj status v rodine i v spoločnosti („polo-dcéru a polo-ženu, / trochu cudzinku, trochu vlastnú“, 1999, s. 18). Spomínané duševné rozporenie sa prenáša na snahu o zdefinovanie postavenia alter ega divosestry vo fantasticko-rozprávkovom svete („polo-živá, polo-mŕtva“, 1999, s. 23, „polo-klaun, polo-žena“, 1999, s. 44). Spojovník v jednotlivých pomenovaniach naznačuje rovnocennosť oboch východiskových slov a zároveň zvyrazňuje polovičatosť, neúplnosť a hybridnosť jednotlivých označení.

K vyvrcholeniu dichotómie dochádza v zbierke Havranjel prostredníctvom analýzy mužsko-ženských vzťahov, keď je lyrický subjekt zobrazený ako rozdvojená mužsko-ženská podstata zvädzajúca boj oboch princípov v jednom tele. Nie je badateľný príklon na jednu či druhú stranu, ale naopak, snaha o komplexné zobrazenie vzťahov s dôrazom na ich dynamiku a neustávajúcu rozporupnosť.

Explicitné pripomienky dichotómie, viacrozmernosti či rozpoltenosti, ktoré dotvárajú metamorfózy nádyh tvorby Evy Luky, je možné nájsť vo všetkých troch zbierkach („položivá láska“, 1999, s. 35; Dulcinea, bájna dáma Dona Quijota, je pomenovaná ako „belostná dvojníčka bludných pomäteníc“, 2005, s. 22; život je zobrazený „akoby to bolo tvoje slepnúce dvojča“, 2011, s. 46; „nežné embryá, / dvojčatá, päťčatá, / stokrát, tisíckrát opakovaný“, 2011, s. 47). Dichotomické narúšanie subjektu má pramene v lyrickom alter egu – v dieťati žijúcom nespútaným, divým životom (porov. Matejov, 2012, s. 22) a predznamenáva ďalšie štádiá premeny lyrického subjektu ústiace k vrcholu premeny, k hybridu.

Na završenie premeny a vytvorenie nového subjektu spája Eva Luka dve samostatné pomenovania, ktoré sú významovo veľmi odlišné, do jedného celku a vytvára novotvar, pričom prvotná sémantika oboch slov je číra. Skladaním vytvára aj názvy svojich troch samostatných básnických zbierok – Divosestra (1999), Diablon (2005) a Havranjel (2011). Monika Kekeliaková označuje všetky tri tituly termínom neologizmus, ktoré sú vytvorené na princípe vzájomného prerastania slovných základov alebo palimpsestu (porov. Kekeliaková, 2012, s. 69).

Samotné názvy zbierok sa zhmotňujú prostredníctvom obrazov na obálkach, napr. ilustrácia od Hiroko Mori v zbierke Divosestra (divé kvety a tráva obkolesujú drevené kreslo, na ktorom sedí dievča s kvetmi miesto očí, v ruke drží malé prasa ako domáceho miláčika, má oblečené čierne (smútočné) šaty a vlasy jej vejú vo vetre) predstavuje premenu či prechod medzi dvoma bytosťami – hybrid, v ktorom, ako naznačuje už samotné pomenovanie, sú obe časti rovnocenné. Divosestra predstavuje alter ego lyrického subjektu. Monika Kekeliaková považuje autoštylizáciu lyrickej hrdinky Evy Luky za veľmi nápaditú, schopnú výrazne sa odlíšiť od magicko-prírodného či mytologického sebaportrétovania typického pre M. Haugovú, D. Podrackú či A. Ondrejkovú (porov. Kekeliaková, 2012, s. 70).

Rovnaké spojenie s textom nachádza Ivana Hostová na ilustráciách obálok druhej a tretej zbierky, ktorých autorom je nemecký maliar a ilustrátor Michael Sowa, známy svojou príznačnou, fantastickou a surreálnou tvorbou, keď prebal veľmi úzko koreluje s tónom celej

zbierky. Na obálke Havranjela sa nachádza portrét speváčky Lotte Strand – žena v ruke drží páva, ovíjajúceho sa jej okolo zápästia ako náramok (porov. Hostová, 2014, s. 171). Z vyplašených pávích očí možno vyčítať, že žena s démonickými očami rozhoduje o živote či smrti zvierat a predznamenáva témy ako smrť, ovládanie a utrpenie, ktoré možno v zbierke nájsť.

Kekeliaková vyzdvihuje premyslené prepojenie medzi zbierkami prostredníctvom avizovania názvov budúcich zbierok. Ďalej hovorí, že pomenovania diabloň a havranjel medzi sebou komunikujú, stretáva sa v nich pozemské/prírodné (jabloň, havran) s nadpozemským (diabol, anjel). Motív jablone (plodnosti) sa demonizoval cez obraz diabla a vznikla diabloň, motív anjela zase získal temné konotácie cez obraz havrana, ktorý sa v zbierke Diabloň prepojil s mužskou sexualitou a v poslednej zbierke sa posunul do pozície havranjeliého dieťaťa (súvislosť s potratom) a havranjeliého brata (porov. Kekeliaková, 2012, s. 69). Naturalistická tematizácia sexuality, plodnosti a potratu zodpovedá výberu pôvodných slov pre vznik hybridov a dotvára pochmúrne, mytologicky temnú a skľučujúcu atmosféru básnických zbierok.

Ako už bolo naznačené, uvažovanie Evy Luky sa básnicky vizualizuje prostredníctvom obálok jednotlivých zbierok. Autorka si vyberá ilustrácie zámerne. S vydaním druhej zbierky bola kvôli autorským právam, vzťahujúcim sa na ilustráciu na obálke, ochotná počkať rok (porov. Hostová, 2014, s. 171). Potvrdzuje to i samotná autorka, keď hovorí: „už som si dokonca vybrala obálku (tiež M. Sowa) na ďalšiu eventuálnu knihu (Svetloplach), pravda, iba ak príde“, no na dotvorenie pre ňu typickej nejednoznačnosti dodáva „významovú spätosť s textami nech posúdi čitateľ“ (Matejov, 2012, s. 22). O významovej spätosti obálok a obsahov zbierok, s výnimkou prvej zbierky, nie je možné uvažovať, ide skôr o akési predznamenanie odlišnosti, originality (výtvorné umelecké dielo uvádza literárne) a temnej (miestami morbidnej) atmosféry Lukinej tvorby.

Spomínané neštandardné spojenie motívov zobrazené na prebaloch, typické pre surrealizmus, je viditeľné i v samotných básňach. Je možné nájsť slovo či slovné spojenie s prekvapivo naturalistickým a ideovým vyvrcholením („divotvorné šaty“, 1999, s. 44; „nežné vlkolaky“, 1999, s. 31; „jašteryby“, 2005, s. 37; „vlčí mor“, 2005, s. 47; „strigodejnice“, 2005, s. 64; „nenávistná nevesta“, 2011, s. 11; „hadí prst“, 2011, s. 25), ktoré temnotou i odlišnosťou dotvárajú obraz fantastickej, svetovej, mytologickej zakliatej krajiny s existenciou života každého druhu.

Pre Luku je príznačné hybridné spojenie animálneho a ľudského alebo transcendentálneho, pričom animálne zobrazenie v podobe havrana, jablone či divosti, ktorá sa skrýva v človeku, je prepojené s nadprirodzeným anjelom a diablom či humánnou sestrou. Tieto dve podstaty sú, ako naznačujú samotné názvy, pevne prepojené a neodlučiteľné. Vyjadrujú prechod medzi dvoma sférami.

Prvým veľkým obrazom hybridizácie (kríženia dvoch odlišných jedincov – porov. Paulička, 2002 II, s. 699) v diele Evy Luky je autobiografická báseň Divosestra, ktorú Jaroslav Vlnka hodnotí ako vnútorne polarizovanú bytosť, ktorej protiklady sú vyvážené do rovnováhy (porov. Vlnka, 1999, s. 105). Divosestra je dovršením transformácie lyrického subjektu, ktorý sa mení na zakliatu polo-živú, polo-mŕtvu postavu s kresťanskou stigmu. Nový subjekt sa po splnení rozprávkových úloh vracia („oblečená-neoblečená, v ústach má plač a spev, / vracia po strmine domov-nedomov“) osvietený („na pleci sova“) a plný poznania o živote („v dlani jablko“), láske („v jablku láska, / v láske jed“), smrti a jej všadeprítomnosti („smrť sa sunie z hradieb, / zazvoní kedykoľvek“ 1999, s. 23). Kresťanské a rozprávkové konotácie odlišujú túto báseň od ostatných, prevažne tematicky japonizovaných, básní v zbierke. Divosestra je prvým alter egom lyrického subjektu.

Ďalším emblémom hybridizácie, kde je fyzické prepojenie dvoch substancií výrazné a neodškriepiteľné, a druhým alter egom lyrického subjektu je symbol diablone, ktorý je

možné interpretovať zo sémantiky základových slov ako diabol a strom života spojení v jednej podstate. A podľa básnických textov ako symbol žiarlivosti, ktorú subjekt prežíva („tento ostrov, táto divá tráva, to / zošalenie, žiarlivosť“, 1999, s. 55), ako ženu, ktorá odvrhla svoje dieťa po narodení, teda diabolskú jablňu („nechcené dieťa ostáva / na ňom [pôrodné lôžko – dopl. M. R.], pohodené, s kusom špinavej látky / medzi trasľavými nožičkami, a ja / vystrašená ako zviera, odchádzam“, 2005, s. 68–69), a ako plodnú, sexepílom nabitú bytosť (strom, z ktorého „padajú do napuchnutia ženstvom nasýtené / plody“, 2005, s. 74). Názor Moniky Kekeliakovej sa s uvedenými tvrdeniami stotožňuje len čiastočne, keď diabloň interpretuje ako temnú, skrytú či pratelesnú polohu ženskosti, prípadne archetyp plodiacej sily ženy a muža (porov. Kekeliaková, 2012, s. 69).

Tretí názov básnickej zbierky, ktorý v sebe nesie znaky hybridizácie, je Havranjel. Z významov slov možno voľne odvodiť sémantiku anjel smrti. Zobrazená ezoterická bytosť najprv vystupuje v role unaveného znetvoreného milenca s pochmúrnymi myšlienkami. So zreteľom na doslovný význam základov slov možno prvú báseň chápať ako každovečerné rozjímanie lyrického subjektu nad smrťou. V ďalšej básni sa pridáva obraz potratu a pohrebu nechceného havranjeliho čierneho dieťaťa – smrť sa približuje, dostáva do tela lyrického subjektu. V tretej básni zaznieva otázka, prečo je subjekt stále nažive, a havranjel mu odpovedá, že ešte neprišiel jeho čas (porov. Luka, 2011, s. 20), čo je možné hodnotiť ako klasickú biblickú odpoveď a zároveň konečné vyrovnanie sa so smrťou. Cyklus básní o havranjelovi sa vyvíja, havranjel (anjel smrti) nadobúda mnoho podôb – z milenca sa stáva potenciálny otec nenarodeného dieťaťa, až prerastie v učiteľa. Navzdory prvej, do značnej miery tematicky japonizovanej, zbierke je v posledných textoch, čo dokazuje i báseň Havranjel III, výrazne badať príklon k európskej duchovnej kultúre, kde je nesporne rozšírený vplyv kresťanskej tradície.

Hybridnosť Eva Luka okrem ponorov do vlastnej psychiky a vytváranie alter eg využíva na kritizovanie deformovaných charakterov. Naturalistická deskripcia výsostne sexuálno-dekadentných obrazov „zlatokopky“ a bájneho stvorenia kentaur v podobe mačovského sexuálneho objektu, ktorého spojenie s človekom má podľa starovekej tradície viesť k poľudšteniu mýtickej bytosti, nenastáva, v tomto prípade dochádza k opozitnému účinku, k naturalizácii človeka („vrátim sa pomätená, bez vôle / čakať, bez času; ako večný pavúk / začnem omotávať zvnútra dom / temnými slinami“, 2005, s. 27).

Premena a hybridizácia postupne prechádza k odcudzeniu lyrického subjektu, vnímanie vlastného ja sa deformuje, subjekt pozoruje sám seba ako objekt, čo sa prejavuje prehovorom o sebe v 3. osobe („odpros za to, čo ma hnalo / túlať sa po cudzích cestách ako biela kostra, / ako matka smrti, ako nenávisťná nevesta, / ktorá dávno prestala byť pannou, a zostali jej / len trpké čaje... / pros za to, aby nemusela pozeráť / na svoju zdeformovanú tvár / v zrkadle, aby už nemusela čeliť / drásavým snom a nízkym túžbam tela... / pros, aby sa jej už nenarodili deti plné / žabích šupiniek“, 2011, s. 11–12). Odcudzený subjekt nie je schopný identifikovať sám seba („v zrkadle vidím neznámu ženu“, 2005, s. 30), stav odcudzenia je vyvolaný stratou blízkej osoby a neschopnosťou lyrického subjektu usadiť sa, je predurčený bezcieľne blúdiť po zemi, presúvať sa z kontinentu na kontinent ako Ahasver (porov. Matejov, 2012, s. 22).

Lyrický subjekt, ktorý stráca kontakt so svojím vlastným ja, v konečnom dôsledku stráca i pud sebazáchovy či vôľu žiť, čo prerastá do volania po smrti („darujem ti... / blúznivé temno svojho tela... / a potom ma zbav pamäti / jedným prudkým pohybom“, 2005, s. 35). Nakoniec, keďže smrť neprichádza, subjekt si vytvára alter ego, ktoré Slovník cudzích slov definuje z psychologického hľadiska ako pomyselného dvojníka vystupujúceho ako hlas svedomia a psychoanalýza Sigmunda Freuda ako nevedomú zložku psychiky (porov. Petráčková – Kraus, 2005, s. 253). Alter ego v diele Evy Luky zahŕňa obe tieto zložky, keď predstavuje živočíšnu podstatu skrytú v každom človeku („hadí prst, hroziaci a sykotavý, / blúznivý, hľuzovitý a čierny“, 2011, s. 25). Subjekt je schopný vidieť svoje alter ego, ale nie

s ním komunikovať („k prameňu prichádzajú / bytosti, ktoré kedysi bývali mnou / a hľadia na mňa, chápavo s láskou“, 2005, s. 31). Dokonca môže dôjsť k úplnému fyzickému odpojeniu alter ega od pôvodného ega, pričom sa pôvodný celistvý lyrický subjekt natoľko deformuje, že stráca schopnosť konať a alter ego preberá pozíciu agensa („v noci sa mäso... / berie... z tela preč“, 2011, s. 34; „tancuje ťarbavo, nepôvabne... veď je to iba / telo bez hlavy, s umelými, necítiacimi rukami“, 2011, s. 37). Tento postup možno demonštrovať na básni Jazver, kde je zobrazené alter ego lyrického subjektu v dvojakej grafickej podobe pomenovania ja-zver a jazver a prihovára sa lyrickému subjektu, ktorého tvoria už len zdrapy tela a rúk (porov. Luka, 2005, s. 76). Monika Kekeliaková prichádza k rovnakému záveru, keď tvrdí, že Luka je vo všetkých zbierkach verná deformácii a devalvácii ženského a mužského tela na torzá, prípadne na hybridné tela-amalgámy, ktoré ju zbližujú so „surrealistickou somatológiou“ (termín J. Vojvodíka, Kekeliaková, 2012, s. 70), keď sa objavuje motív ženy bez hlavy pripomínajúci Rodinove sochy bez hláv, rúk, nôh. Hybridné tela-amalgám sú napr. vyobrazené ako kentaur, jazver, rozseknutá tulenia žena alebo morská panna (porov. Kekeliaková, 2012, s. 70).

Metamorfózy, dichotómia, hybridy, odcudzenie a alter egá slúžia Eve Luke na vyjadrenie rôznorodosti existencie, ktorá je zobrazená ako fakt, na analýzu osobnosti, ľudskej podstaty bez akéhokoľvek filtra, na poukázanie difúznosti vzťahov, na kritiku deformovaných charakterov a na rozjímanie o smrti a vyrovnávanie sa s ňou. Pri skúmaní rozpoltenosti je pomyselná hranica v rámci subjektu viditeľná. Pri hybridoch, metamorfózach a alter egách, ktoré sa fyzicky neoddelia od pôvodného subjektu, nie je možné určiť, kadiaľ vedie hranica rozdeľujúca i spájajúca základné prvky, pretože obe časti sú pevne prepojené a neodlučiteľné. Po odpojení alter ega či jeho fyzickom oddelení je možné definovať hranice medzi pôvodným subjektom a jeho zvyškom, ale ani jedna z častí nenadobúda status pôvodného, viac či menej, autonómneho celku.

Literatúra:

- GAVURA, J. (2012): *Päť krát päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie*. Bratislava: Literárne informačné centrum.
- HOSTOVÁ, I. (2014): *Medzi entropiou a víziou (Kritické a interpretačné sondy)*. Prešov: FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania.
- KEKELIAKOVÁ, M. (2012): „Poézia mäsa lásky, telesnej ako zviera“ Eva Luka: Havranjel. In: *Romboid*, 47/4, s. 69–71.
- Literárne informačné centrum: Eva Luka. Životopis autora. [Cit. 2018-07-12.] Dostupné na internete: <http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/eva-luka#curriculum_vitae>
- LUKA, E. (1999): *Divosestra*. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
- LUKA, E. (2005): *Diabloň*. Trnava: Edition Ryba.
- LUKA, E. (2011): *Havranjel*. Trnava: Edition Ryba.
- MATEJOV, R. (2012): My name is Luka. In: *Knižná revue*, 22/14–15, s. 22.
- PAULÍČKA, I., ed. (2002): *Všeobecný encyklopedický slovník A – F*. 1. vyd. Praha: OTTOVO nakladatelství, s. r. o.
- PAULÍČKA, I., ed. (2002): *Všeobecný encyklopedický slovník G – L*. 1. vyd. Praha: OTTOVO nakladatelství, s. r. o.
- PAULÍČKA, I., ed. (2002): *Všeobecný encyklopedický slovník S – Ž*. 1. vyd. Praha: OTTOVO nakladatelství, s. r. o.
- PETRÁČKOVÁ, V. – KRAUS, J., ed. (2005): *Slovník cudzích slov*. 2.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá.
- ŠRANK, J. (2013): *Individualizovaná literatúra*. Bratislava: Cathedra.
- URBANOVÁ, E. (2012): Snívam, teda som: K autorskej poetike Evy Luky (Eva Luka – Diabloň: 2005, Havranjel: 2011). In: *Motus in verbo*, 1/1, s. 91–94.

VLNKA, J. (1999): Údiv robí divy (Eva Lukáčová Divosestra). In: *Slovenské pohľady*, IV+115/10, s. 104–105.

Summary

Hybridization and the Boundary of the Subject

This review discusses about two worlds in the poetry of Eva Luka, especially in collections *Havranjel* (2011) and *Diabloň* (2009). We distinguish two worlds according to binary oppositions “real” (earthly) versus “fantastic” (daemonic): dreamy world and world of fiction which references to real world. The lyrical subject (she) is moving between these worlds. As a line of dreamy world we can recognize an important motive of the water. The lyrical subject is changing into varied forms (mostly animal forms), as if she has to partly die, she gives up part of herself, she can go into this dreamy world only after that and that is a way how to gain the subconscious. We verify, that both of these worlds “live” in a symbiosis, they need each other. It seems that a dream, like a building-element of poetic text, is still the way how to write an authentically and successful poetry which is also interesting for reading public.

Striga strzydze nierówna?

Słowiańska demonologia w zbiorze opowiadań *Ostatnie życzenie* A. Sapkowskiego oraz jego przekładzie na język słowacki

Magdalena Zakrzewska-Verdugo – Zuzana Obertová

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

magdalena.zakrzewska@uniba.sk

zuzana.obertova@uniba.sk

Słowa kluczowe: Andrzej Sapkowski, wiedźmin, demonologia słowiańska, rusalka, strzyga, diabeł

Key words: Andrzej Sapkowski, The Witcher, Slavic demonology, rusalka, striga, devil

Cyklowi *Saga o wiedźminie* A. Sapkowskiego należy przypisać rozbudzenie masowego zainteresowania wierzeniami słowiańskimi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Niewątpliwie dzięki temu autorowi ponownie, po okresie romantyzmu i modernizmu, nastąpił w Polsce zwrot ku rodzimym podaniom. Pisarz dokonał bowiem ich twórczego recyklingu polegającego na tym, że: „Potwory, pozbawione przez dziewiętnastowiecznych twórców podmiotowości i sprowadzone do instrumentów strachu, uzyskują prawo do samostanowienia (...)” (Kaczor, 2006, s. 8).

Ten recykling polega jednak nie tylko na odejściu od typowych funkcji postaci charakterystycznych dla bajek ludowych w rozumieniu W. Proppa (1968), ale również na wymieszaniu wierzeń i podań z różnych kręgów kulturowych. Trudno jest więc jednoznacznie oddzielić w tych utworach wierzenia polskie od słowiańskich (czy nawet niesłowiańskich), ponieważ wywodzą się one najczęściej z czasów pogańskich i przedpiśmiennych, a spisane zostały dopiero w XIX w. oraz na początku XX w.¹, a także ulegały wpływom obcym. Po przyjęciu chrztu w 966 r. zrobiono również wiele, by zostały one zapomniane przez lud. Większość współcześnie znanych wierzeń została więc przepuszczona przez filtr moralności chrześcijańskiej. Najczęściej nie są to jednak motywy i archetypy znane masowemu odbiorcy polskiemu.

Wydaje się, że ten brak znajomości kontekstu nie stanowi problemu w odbiorze *Sagi o wiedźminie*. Przyczynę takiego stanu rzeczy w kontekście gatunku fantasy wyjaśnia J. Pamięta-Borskowska (2011, s. 155): „Fantasy nie jest tylko zbiorem mitów i legend zebranych przez miłośników folkloru i historii chcących w przystępnej formie przekazać czytelnikom plony. [...] czytelnicy nie są informowani o tym, kiedy pojawia się prawdziwa postać mityczna, z jakiej kultury pisarz zaczerpnął dany archetyp, na jakiej legendzie się wzorował.”

Można zatem posłużyć się tytułem artykułu A. Gemry i stwierdzić, że fantasy jest mitem opowiedzianym na nowo (Gemra, 1998). A. Sapkowski zdaje sobie doskonale sprawę z wyznaczników gatunkowych fantasy, w związku z czym w jego opowiadaniach z pierwszego chronologicznie tomu o przygodach bohatera wiedźmina Geralta z Rivii pod tytułem *Ostatnie życzenie* (pierwodruk 1993) pojawiają się motywy znane nie tylko ze słowiańskich wierzeń

¹ Do najważniejszych polskich dzieł pochodzących z tych czasów i systematyzujących tematykę wierzeń słowiańskich należą: *O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem* (1818) Z. Dołęga-Chodakowskiego; wielotomowa praca O. Kolberga *Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce* (1857 – 1890); *Słowianie Zachodni. Dzieje, obyczaje, wierzenia* (1887) W. Bogusławskiego, *Mitologia słowiańska* (1918) i *Mitologia polska* (1924) A. Brücknera, *Lud polski. Podręcznik etnografii Polski* (1926) A. Fischera, a także *Kultura ludowa Słowian* (1934) K. Moszyńskiego.

(*kikimora*) i bajek magicznych (*strzyga*), ale również nordyckich (*troll*), celtyckich (*druid*) oraz popularnych baśni (*Królowa Śnieżka*). Są to w większości nawiązania intertekstualne dostępne przeciętnemu użytkownikowi kultury. Jednakże nawet w przypadku nieumiejętności zlokalizowania pre-tekstu odwołania, najważniejsi przedstawiciele bestiariusza zostają w wystarczający sposób scharakteryzowani w tekście opowiadań, aby nie wywoływać u odbiorcy poczucia obcości kulturowej² – nie zawsze zresztą zgodnie ze swoim pierwowzorem, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Pomimo powyżej poczynionych zastrzeżeń, w kolejności alfabetycznej omówiony tu zostanie słowiański bestiariusz³, jaki pojawia się w pierwszym tomie opowiadań o wiedźminie Geralcie *Ostatnie życzenie* w ujęciu kontrastowym: polsko-słowackim. Porównane zostanie, w jaki sposób pole znaczeniowe poszczególnych demonów (*kikimory*, *leszego*, *rokity*, *rusalki*, *strzygi* oraz *Żywii*) różni się w kulturze polskiej oraz słowackiej, w oparciu o świadectwa zawarte w wierzeniach, podaniach lokalnych, bajkach magicznych zapisanych przez etnologów, zbieraczy i badaczy. Komparacja zostanie przeprowadzona na tle polskiego oryginału *Ostatniego życzenia* (Sapkowski, 2012) oraz jego słowackiego tłumaczenia (Sapkowski, 2015).

Kikimora

W opowiadaniu *Mniejsze zło* pojawia się mityczne stworzenie zwane *kikimorą*. Jest to demon słowiański, jednakże wywodzący się z obszaru wschodniego. M. Dziwisz (2012, s. 145) sugeruje, że poprzez to, że nie jest szerzej znana w polskiej demonologii, nazwa ta może być odebrana przez rodzimego użytkownika jako kolejny odautorski neologizm (jak *morszczyńka*, *przeraza* czy *bobołak*). Wspomina się również o tym, że na wschód od Polski oznacza złego ducha „bez określonej twarzy” (Brückner, 1985, s. 187), a więc nie przypomina w niczym stworzenia opisywanego przez A. Sapkowskiego w następujący sposób:

„Przywiózł jakiegoś smoka na handel, jakieś skrzyżowanie pajaka z krokodylem.” (Sapkowski, 2012, s. 98).

Według słownika *Polska bajka ludowa* (PBL), na terenach polskich *kikimora* nie była zupełnie obca, ale występowała, w zależności od regionu, pod wieloma alternatywnymi nazwami⁴, z których najbardziej typową była *zmora*, ale również *mora*, która to również epizodycznie pojawia się w *Ostatnim życzeniu*, jednakże nie ma nic wspólnego z *kikimorą*:

„Mora! [...] Błada dziewczica, onaż po chałupach chodzi o brzasku, a dzieciaki od tego mrą!” (Sapkowski, 2012, s. 174).

Powyższy opis znacznie bardziej odpowiada roli przypisywanej temu demonowi w polskich wierzeniach, w których obecny jest jako duszący ludzi podczas snu (niczym leśmianowski dusiołek). Nazwa *zmora* czy też *mora* etymologicznie wywodzi się od czasownika *morzyć*, czy też *mrzeć*. W języku polskim występuje nawet fraza *Bóg wiara, sen mara* (lub: *Sen mara, Bóg wiara*).

W hasle PBL poświęconym *zmorze* można również wyczytać, że niekiedy stawał się nią człowiek, który posiadał dwie dusze, co łączy ją ze *strygą* oraz wampirem. Wspomniana jest

² Dotyczy to szczególnie przedstawicieli słowiańskiego bestiariusza, który dla czytelnika z kręgu niesłowiańskiego najczęściej był całkowitym novum – A. Sapkowskiemu przypisać bowiem należy zasługę spopularyzowania tych istot, a więc odświeżenie skostniałego panteonu bohaterów typowych dla świata przedstawionego fantasy, który tradycyjnie czerpie z wierzeń celtyckich i germańskich.

³ W analizie pominięte zostaną demony, które w tekście tegoż tomu zostały tylko wymienione, bez szerszej charakterystyki (np. *dziwożona*, *latawiec*, *skrzat*). Pominięte tu też zostaną rozważania nad samą naturą wiedźmina, która to nazwa, choć jest neologizmem odautorskim, prawdopodobnie została zaczerpnięta od *wiedźmaka*, występującego we wschodniosłowiańskich wierzeniach ludowych (Sorokina, 2014).

⁴ Nazwa *kikimora* przyjęła się jednak np. w Osowcu (Podlasie) i Mławie (Mazowsze), gdzie na przełomie XIX i XX w. stacjonowały garnizony wojsk rosyjskich (Baranowski, 1981).

również wielorakość jej potencjalnej postaci, w tym antropomorficzna (kobieta) lub zoomorficzna (najczęściej nieduże zwierzę) – a więc: dlaczego by nie skrzyżowanie smoka z pajakiem?

Obraz mory w podaniach słowackich jest podobny do polskich: jest zdolna nie tylko dusić śpiącego, ale też wysysać mu krew, co też łączy ją z wampirem. (Botík – Slavkovský⁵, 1995, s. 371–372). Również może występować w różnych postaciach: żaby, kota, myszy, muchy lub przedmiotu takiego jak: słoma, biała sierść, jabłko, kość, czy nawet jelita. Natomiast *kikimora* nie jest w wierzeniach słowackich znana, mimo to tłumacz zbioru opowiadań, K. Chmel, pozostawił ją w przekładzie. Konotacje słowackiego i polskiego czytelnika są podobne, ponieważ z perspektywy obu kultur *kikimora* jest czymś obcym, może być postrzegana jako neologizm odautorski. Ponieważ wygląd i działanie *kikimory* zostały dokładnie opisane, „neologizm” ten nie stanowi przeszkody w rozumieniu tekstu.

Leszy

Innym demonem pochodzenia rosyjskiego jest *leszy*. W pierwszym tomie A. Sapkowskiego pojawia się tylko marginalnie, jednakże w kilku różnych opowiadaniach. Za każdym razem konsekwentnie określany jest jako stworzenie leśne, co niewątpliwie ewokowane jest przez jego nazwę, etymologicznie wywodzącą się od słowa *las*:

„Po lasach dawniej aby wilki wyły, a teraz akurat: upiory, borowiki jakieś, gdzie nie spluniesz, wilkołak albo inna zaraza.” (Sapkowski, 2012, s. 13).

„Coś, co siedziało w koronie olbrzymiego dębu, wrzeszczało i syczało. Mógł to być leszy, ale mógł też to być zwykły żbik.” (ibidem, s. 67).

„To coś, co zabiło oboje – ciągnął Geralt, patrząc na skraj lasu – nie było ani wilkołakiem, ani leszym. Ani jeden, ani drugi nie zostawiłby tyle dla padlinożerców.” (ibidem, s. 47).

W Polsce nazywało się go również *borowym*, *borowikiem*, *Borutą* (Pamięta-Borkowska, 2011, s. 154) lub *laskowcem* (Gieysztor, 2006, s. 263). To przedostatnie imię było również przypisywane jednemu z diabłów pojawiających się w polskich podaniach. Jak widać w pierwszym powyższym cytacie, u A. Sapkowskiego *leszy* i *borowik* występują jako dwaj odrębni mieszkańcy świata przedstawionego.

W przekładzie słowackim *leszy* został zastąpiony *goblinem*. To jedyny przypadek, kiedy tłumacz nie skorzystał ze słowackich odpowiedników wspólnych słowiańskich demonów. Goblin wywodzi się z wierzeń germańskich, sama nazwa funkcjonuje dzisiaj w obszarze anglo- i francuskojęzycznym.⁶ W związku z tym, że w *Sadze o wiedźminie* występują również istoty innych kultur, zmiana ta nie rzuca się w oczy. Jako słowo obce czytelnik może je uważać za nawiązanie do kultury zachodniej. To rozwiązanie jest niezrozumiałe w kontekście dostępnych rodzimych synonimów: *lesný škriatok*, *mužik*, *trpaslík*. Można było skorzystać także z nazwy *lesovik*, która co prawda nie występuje w wierzeniach słowackich, jej motywacja słowotwórcza jest jednak o wiele bardziej przejrzysta niż w przypadku goblina. Charakterystyka *lesovika* częściowo odpowiada opisanej przez A. Sapkowskiego istocie: „chlpatý lesný škriatok, žije v korunách stromov, hlučným ľuďom v lese dáva hádanky a trestá ich.” (Hudec, 1998, s. 133). Poza tym, sam goblin pojawia się w oryginale w następnych tomach. Jednakże tylko w tomie *Wieża jaskółki* występuje i goblin, i *leszy*, jak również tylko w tym tomie *leszy* został przetłumaczony jako *lesovik*.

⁵ Dalej jako ELKS.

⁶ <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Goblin>

Rokita (diabeľ)

Innym demonem wywodzącym się z ludowych podań polskich, obecnym w tomie *Ostatnie życzenie* jest postać nazywana *diaboľ*, *diabeľ*, *silvan* lub *rokita*. Właśnie pod tym ostatnim mianem, obok Boruty⁷, obecny jest w rodzimych wierzeniach. Ich imiona wywodzą się z przekonania, że w borach i rokicinie kryły się złe moce. W Beskidzie Wyspowym istnieje nawet zwrot *śmiać się jak diabeľ w rokicie* (Gacek, 2012, s. 65).

Diabeľ u A. Sapkowskiego jest opisany jako fizycznie przypominający kozła i wydający również koźle odgłosy, ale inteligentny i moralny, co dowodzi tego, że demony w *Ostatnim życzeniu* zostały upodmiotowione. Diabeľ nie pozwala elfom zabić Geralta i Jaskra – jest sprzymierzeńcem Żywii (która zostanie również opisana w dalszej części niniejszego artykułu). Sam stwór protestuje jednak przeciwko temu, żeby nazywać go rokitą – być może wolno jest to odczytać jako metatekstowe zdystansowanie się do wiernego oparcia się na wierzeniach i podaniach, również tych występujących wyłącznie w obrębie świata przedstawionego. W tekście opowiadania *Kraniec świata* demon ten zostaje bowiem scharakteryzowany, jak również wątpliwy sposób pozbycia się go:

„Diaboľ – [...]. Chceszli go z opola wygonić, tako uczyn [..]. Weźmij orzechów jedną przygarść (...) Weźmij zasię kulek żelaznych przygarść drugą. Miodu łagiewkę, dziegciu drugą. Mydła szarego faskę, twarogu drugą. Kędy diaboľ siedzi, pójdź nocną porą. A jeść pocznij orzechy. Wnet diaboľ, któren łakomy jest, przybieży i spyta, smaczne li. Wonczas daj onemu kulki żelazne, [...] zębów nadłamawszy, diaboľ baczywszy, jak miód jesz, takóž miodu zapragnie. Daj onemu dziegciu, a sam twaróg jedz. Posłyszysz niebawem, jak diabłowi we wnętrzu burczy a kruczy, ale pozór daj, jakoby to nic. A zechce diaboľ twarogu, daj onemu mydła. Po mydle zasię diaboľ nie zdzierzy [...].” (Sapkowski, 2012, s. 190).

Powyższy rzekomy wyimek z pradawnej księgi w swym archaizowanym brzmieniu jest dość komiczny i, jak się dowiadujemy, sposób na diabła jest nieskuteczny. Wiedząc zatem, że sam stwór nie zgadza się na nazywanie go rokitą, uzyskujemy potwierdzenie umowności podbudowy mitologicznej występującej w opowiadaniach A. Sapkowskiego.

W folklorze słowackim *diabeľ* – po słowacku *čert* – jest najlepiej zdomowioną nadprzyrodzoną postacią. Najbardziej utrwalaony jego wygląd nie ma nic wspólnego z wizerunkiem kozy, jest natomiast czarny, włochaty, o ostrych uszach, rogach, długim krowim ogonie (Nádaská – Michálek, 2015, s. 21). Cechy charakteru jednakże różnią się w wierzeniach i w podaniach ludowych. Wyobrażenia o diable są bardziej demoniczne, przerażające, natomiast w folklorze występuje on często zantropomorfizowany, bardziej człowieczy, nawet etyczny i sprawiedliwy (ELKS, s. 73). Te pozytywne właściwości cechują Torque’a, czyli diabła u A. Sapkowskiego.

Żaden z podanych synonimów diabła – *rokita*, *silvan* – nie mają odpowiednika w języku słowackim. Inne nazwy diabła to *satan*, *diabol*, *Lucifer* i bardziej opisowe *pokušiteľ*, *pekelník*, *bes*, *d’as*, *rohatý* i inne (ibidem). Tłumacz skorzystał zatem z tłumaczenia dosłownego i adaptacji graficznej, zmieniając jotę na igrek – *rokyta* – oraz dodając znak długości – *silván*. Skojarzenia, które te nazwy wzbudzają, nie zbliżają się do pierwotnego znaczenia. *Silván* to rodzaj wina, a *rokyta* kojarzyć się będzie z wierzbą rakytą. Mimo podobieństwa polskiej i słowackiej nazwy chodzi o różne gatunki wierzby. Polska *rokita*, to *salix rosmarinifolia*, krzew o wysokości do 150 cm rosnący na podmokłych łąkach i torfowiskach⁸, natomiast słowacka *rakyta* to *salix caprea*, drzewo rosnące przy drogach lub na obrzeżach lasów⁹. Poza tym, wierzba w podaniach słowackich nie występuje jako siedlisko złych mocy. W przekładzie

⁷ Boruta oraz Rokita to imiona diabłów, dlatego też najczęściej zapisywane są dużą literą.

⁸ https://atlas-roslin.pl/gatunki/Salix_rosmarinifolia.htm

⁹ <https://www.nahuby.sk/atlas-rastlin/Salix-caprea/vrba-rakyta/vrba-jiva/ID7529>

słowackim wprowadzono zatem zupełnie nowe istoty, których pochodzenie pozostaje dla słowackiego odbiorcy całkowicie niedostępne.

Rusałka

Kolejną bohaterką słowiańskich wierzeń, której nazwa pojawia się na kartach tomu *Ostatnie życzenie* jest *rusałka*, jednakże tak jak i powyżej omówiony *rokita* (który prawdopodobnie *rokita* nie był), postać opisywana pierwotnie jako *rusałka*, ostatecznie okazuje się być wampirem. Pomimo to, możemy znaleźć w tekście kilka cech charakterystycznych dla *rusałki*:

- „– Twoja Vereena – powiedział – to prawdopodobnie *rusałka*. Wiesz o tym?
- Podejrzewam. Szczupła. Czarna. Mówi rzadko, w języku, którego nie znam. Nie je ludzkiego jadła. Na całe dni znika w lesie, potem wraca. To typowe? [...]
- [...] Wiesz, jak *rusałki* boją się ludzi. Mało kto widział *rusałkę* z bliska.” (Sapkowski, 2012, s. 66).

Sama *rusałka*, pomimo powabów zewnętrznych, jednak również potrafi prześladować ludzi, o czym świadczy fragment opowiadania *Wiedźmin*:

- „Po wsiach *rusałki* i płaczki porywają dzieci, to już idzie w setki.” (Sapkowski, 2012, s. 13).

W wierzeniach ludowych *rusałce* również daleko było do niewinnej piękności. Jednak sama nazwa *rusałka*, jak zaświadcza A. Brückner (1985, s. 179), występowała pierwotnie u Rzymian, skąd przedostała się na Bałkany, potem na Ruś (w XVI w.), a dopiero później na tereny zachodniej słowiańszczyzny (prawdopodobnie dopiero w XIX w.). Ten odpowiednik nimfy, pojawiał się w różnych utworach literackich, szczególnie w okresie romantyzmu: np. u A. S. Puszkina w balladzie z ok. 1819 r. *Rusałka*, czy też w balladzie *Świtezianka* A. Mickiewicza, wydanej w tomie *Ballady i romanse* w 1822 r. A. Brückner twierdzi nawet, że to właśnie literaturze zawdzięczamy dzisiejsze przekonanie, że *rusałki* to stwory obecne w folklorze. Pierwotnie jednak funkcję *rusałek* pełniły brzeginie, wiły¹⁰ oraz dziwożony, które u A. Sapkowskiego występują jako odrębne, choć prawdopodobnie zbliżone, istoty, czego dowodzą następujące cytaty:

- „Temu złap *rusałkę*, temu nimfę, temu dziwożoną.” (Sapkowski, 2012, s. 169).
 - „I wiły! Przez nie człeka krosta obsypuje.” (Sapkowski, 2012, s. 174).
- Rusałka* często była utożsamiana z topielicą, ponieważ potrafiła mamić ludzi do głębin [PBL], a więc należało jej unikać, szczególnie będąc skorym do miłosnych uniesień mężczyzną, ponieważ miała postać pięknej kobiety.

Rusałka (słow. *rusalka*) występuje także w wierzeniach wschodniosłowackich, na zachodniej i środkowej Słowacji przeważają wiły (ELKS, s. 303). Te dwie postacie często występują zamiennie, chociaż niektóre źródła podają różnice między nimi, np. *rusałka* nie znosi dotyku człowieka, który jest dla niej śmiertelny (Nádaská – Michálek, 2015, s. 157). Ogólnie opis *rusałki* A. Sapkowskiego odpowiada wierzeniom słowackim: „Rusalky si ľudia predstavovali ako pekné dievčatá s porcelánovo bledou tvárou, z ktorej žiarili sivé, modré alebo čierne oči. Vlasy mohli mať dlhé až po kolená.” (ibidem). W opowiadaniu brakuje związku *rusałki* z wodą, podana zostaje tylko informacja, że znika ona na kilka dni w lesie.

¹⁰ W języku polskim wciąż obecny jest (nieco już archaiczny) rzeczownik *szalawila*, oznaczający lekkoducha, co pierwotnie oznaczało opętanego przez wiły (Brückner, 1985, s. 180).

Strzyga

Strzyga, tak jak rusałka, to również demon żeński. Co też je łączy, to zapożyczenie obu nazw, które wyparły wcześniejsze ich imiona, obecne w wierzeniach polskich (Brückner, 1985, s. 323). Dzieli je jednak wyobrażenie o ich wyglądzie zewnętrznym, czego dowód otrzymujemy także w tekście opowiadania *Wiedźmin*:

„Jak najbardziej strzygowata strzyga, o jakiej słyszałem! Jej wysokość królewska córka, przekłety nadbękart, ma cztery łokcie wzrostu, przypomina barylę piwa, ma mordę od ucha do ucha, pełną zębów jak sztylety, czerwone ślepia i rude kudły! Łapska, opazurzone jak u żbika, wiszą jej do samej ziemi!” (Sapkowski, 2012, s. 22).

Z inicjalnego opowiadania czytelnik dowiaduje się również, że strzyga zrodziła się jako martwe niemowlę z kazirodczego związku pomiędzy rodzeństwem, a także że jej aktywność rozpoczęła się dopiero w siedem lat po narodzeniu i trwała tyleż samo lat, do momentu przybycia wiedźmina. Należy tu zwrócić uwagę na symboliczne znaczenie liczby siedem¹¹, typowe m.in. dla wierzeń ludowych. Dalej w tekście opowiadania poznajemy zwyczaje strzygi: atakuje wyłącznie po zmroku, a z krypty wychodzi tylko przy pełni księżyca.

Podane zostają również prawdopodobne środki zaradcze mające prowadzić do odczarowania bestii, aby ponownie stała się księżniczką, a więc: „srebro, spędzenie nocy wraz ze strzygą i uniemożliwienie jej powrotu do krypty przed „trzecim kurem”. Nawet, jeśli się to jednak powiedzie, będzie musiała nosić szafir – inkluz¹² (kamień z pęcherzykiem powietrza), a także „[...] w komnacie, w której będzie sypiała, należy co jakiś czas palić w kominku gałązki jałowca¹³, żarnowca i leszczyny.” (Sapkowski, 2012, s. 26).

Wyobrażenie strzygi u A. Sapkowskiego jest w zasadzie zgodne z definicją W. Doroszewskiego: „[...] dusza dziecka, urodzonego z zębami i wcześniej zmarłego [...] Strzyga jest to upiór, który zmarłszy dzieckiem, rośnie w grobie dopóty, aż dojdzie zwykłej człowieka postaci.”¹⁴. Z kolei U. Lehr (1982, s. 135) stwierdza, że wiara w strzygę była powszechna na terenach słowiańskich i nie tylko. Wspomina się również o tym, że najczęściej w demona tego zmieniała się osoba pochowana bez chrztu lub urodzona z widocznymi anomaliami fizycznymi (np. ze wspomnianymi przez W. Doroszewskiego zębami). Wydaje się, że fizyczny opis strzygi, choć niewątpliwie rozwinięty w nim został motyw zębów, jest pomysłem odautorskim. Nie znajduje potwierdzenia w słowiańskich wierzeniach, gdzie demony te były raczej zbliżone do koszmarnych kobiet lub duchów.

A. Brückner (1985, s. 279) opisuje również, w jaki sposób w wierzeniach europejskich należało sobie radzić ze strzygą: przebić ją kołkiem osinowym i odrąbać głowę. W opowiadaniu A. Sapkowskiego sposób ten zostaje wyśmiany jako nieskuteczny¹⁵:

„Jeden proponował spalenie strzygi razem z pałacem i sarkofagiem, inny radził odrąbać jej łeb szpadlem, pozostali byli zwolennikami wbijania osinowych kołków w różne części ciała,

¹¹ W *Podaniach i baśniach ludowych* Mazowsza R. Zmorskiego również w wieku 14 lat udało się odczarować księżniczkę strzygę (a więc po siedmiu latach rośnięcia w krypcie i siedmiu nękania). Liczba ta zatem nie jest przypadkowa.

¹² Termin „inkluz” (od łac. słowa „zamknięty”) u A. Sapkowskiego oznacza „tajemniczą siłę zamkniętą w jakimś przedmiocie, przynoszącą szczęście jego właścicielowi” (Dźwigoł, 2004, s. 16). W wierzeniach polskich też można znaleźć następujące znaczenie tegoż pojęcia: „pieniądz, który raz wydany, zawsze wraca do właściciela” (Gawełek, 1911, s. 18).

¹³ Związek między jałowcem a magią w wierzeniach słowiańskich jest dość wyraźny. Można znaleźć wzmianki o tym, że Kaszubi wierzyli w Borową Cotkę, która ludzi niszczących las zmieniała w krzaczki jałowca (Dźwigoł, 2004, s. 154), a także że niektórzy badacze wierzeń słowiańskich łączyli nazwę diabła (*kaduk*) i jałowca (*kadyk*) (ibidem, s. 120). To samo dotyczy żarnowca, który miał powstawać z diablích ogonów i z niego to właśnie miały sobie pleść miotły czarownice (ibidem, s. 124). Leszczyna rozpalala z kolei „żywy ogień” (Gieysztor, 2006, s. 220).

¹⁴ <https://sjp.pwn.pl/doroszewski>

¹⁵ Tak samo jak opis zwalczania diabła rokity okazał się stekiem bzdur.

oczywiście za dnia, kiedy diablca spała w trumnie, zmordowana po nocnych uciechach.” (Sapkowski, 2012, s. 15).

Jedynym skutecznym sposobem okazuje się odczynienie klątwy, która z normalnego dziecka uczyniła strygę – taki środek zaradczy znajduje potwierdzenie również w pierwowzorze tegoż opowiadania w *Podaniach i baśniach ludu w Mazowszu* R. Zmorskiego z 1852 r. A. Sapkowski niewątpliwie w *Wiedźminie* nawiązuje do niego świadomie, czego dowodzi szereg cech zbieżnych¹⁶, takich jak: rodowód demona, sposób złamania klątwy, wiek strygi. Cechy różniące oba teksty to przede wszystkim: typ i motywacja wybawcy, efekt przemiany królewny, psychologiczne prawdopodobieństwo, wymiar religijny pierwowzoru, którego u A. Sapkowskiego brak (Geralt to ateista). Opowiadanie *Wiedźmin* nie rości sobie bowiem pretensji do realizowania cech gatunkowych bajki magicznej, a więc jego świat przedstawiony nie jest światem ładu moralnego i stereotypowych bohaterów realizujących określone funkcje zgodne z *Morfologią bajki magicznej* W. Proppa.

Dlatego też narodziny strygi nie okazują się karą za niemoralne zachowanie¹⁷, czyli kazirodczy związek pomiędzy bratem i siostrą, ale po prostu skutkiem klątwy, rzuconej przez niechcianego adoratora. Ludowa moralność, obecna w bajkach i podaniach oraz wyrażona przez jednego z bohaterów opowiadania *Wiedźmin* okazuje się więc mylna: „Adda urodziła strygę, bo spała z własnym bratem, taka jest prawda i żaden czar tu nie pomoże. Strzyga żre ludzi, jak to strzyga, i trzeba ją zabić, normalnie i po prostu.” (Sapkowski, 2012, s. 19).

Obrazu strygi w wierzeniach polskich nie można prawie w ogóle utożsamiać ze słowacką *strigą*, której synonim to też *bosorka*. Osoba pochowana bez chrztu lub z anomaliami fizycznymi w wierzeniach ludowych jest raczej *revenantem* wracającym w świat, żeby znaleźć spokój, bądź wspomnianą wyżej morą. Natomiast *striga* to półdemon – półczłowiek o nadprzyrodzonych, magicznych zdolnościach (posiadanych od urodzenia lub uzyskanych), mających na celu szkodzenie swojemu otoczeniu (np. przywołaniem burzy, niszczeniem żniw, zatruciem mleka itp.). O możliwości odczarowania strigi także nie ma wzmianek, ponieważ nie jest ona przeklęta. Można było tylko rozpoznać strygę, np. przez wyrzeźbienie i użycie tzw. stołeczka Łucji (luciový stolček) w określonym czasie (Nádaská, 2017, s. 207).

W przekładzie słowackim pojawia się tłumaczenie *striga*, mimo że dla odbiorcy tekstu docelowego opowieść nie będzie się kojarzyła z rodzimym rozumieniem tego słowa. Słowacki czytelnik będzie uważał to opowiadanie albo za licencję poetycką, gdyż autor także w innych rozdziałach nawiązuje do znanych baśni i przekształca je¹⁸, albo za część obcego (polskiego) folkloru.

Żywia

Jednym z niewielu demonów z wierzeń słowiańskich pojawiających się w tomie *Ostatnie życzenie* i mających pierwotnie jednoznacznie pozytywne konotacje jest *Żywia*. W rzekomej pradawnej księdze, cytowanej w opowiadaniu *Kraniec świata* czytelnik otrzymuje następujący jej opis:

„Ujrzyć ją można – zaczął – letnim czasem, od Dni Maju i Czerwca aż po dni Paźdźierza, ale najczęściej zdarza się to we Święto Sierpu, które prastarzy zwali: ‘Lamas’. Objawia się ona jako Panna Jasnowłosa, we kwiatkach cała, a wszystko, co żywie, podąża za nią i lgnie do niej, zajedno ziele czy zwierz. Dlatego i imię jej jest Żywia. [...] Panna Polna. Kędy Żywia stąpnie, ziemia kwitnie i rodzi, i bujnie lęgnie się wszelaki stwór, taka jej moc. Ludy wszystkie ofiary

¹⁶ Te podobieństwa i różnice zostały omówione szczegółowo przez M. Roszczynalską (Roszczynalska, 2003).

¹⁷ Jednym z najpopularniejszych motywów ludowych piętnujących kazirodztwo jest etymologia bratka obecna w pieśniach białoruskich – w kwiatek ten zostało przemienione rodzeństwo Iwan i Maria, którzy w szale obchodów Nocy Kupały oddali się tego typu zakazanej miłości (Gieysztor, 2006, s. 246).

¹⁸ J. Malíček twierdzi, że A. Sapkowski rewiduje baśniową i mitologiczną przeszłość, opowiada powszechnie znane bajki, tylko że jego wersja jest od zdarzeń w bajkach dużo bardziej prawdopodobna (Malíček, 2017, s. 6).

jej składają z urodzaju, w nadziei płonnej, że ich, nie cudzą dziedzinę Żywia odwiedzi. Bo mówią też, że kiedyś na koniec osiadzie Żywia wśród tego ludu, które się nad inne wybije [...]” (Sapkowski, 2012, s. 213).

A. Brückner (1985, s. 49) wspomina, że imię zbliżone do Żywii zostaje wspomniane już w kronice Thietmara, jako występujące u Słowian Połabskich. Jednakże uważa, że jej rolę pogańskiego bóstwa naczelnego wymyślił J. Długosz. Jest ona charakteryzowana w sposób zbliżony do powyższego opisu, natomiast według N. Profantovej (2007, s. 249) o wyglądzie ani funkcji tej bogini nie zachowały się żadne szczegółowe informacje. Zakłada się jednak, że jest związana z kultem urodzajności gleby.

W przekładzie zostało użyte imię *Živa*, którym określana jest bogini w słowackich i czeskich źródłach poświęconych mitologii słowiańskiej. Żywia to także jedyny bóg z panteonu słowiańskiego wspomniany w tomie *Ostatnie Życzenie*. Być może jest to związane z brakiem epickiej podbudowy mitologii słowiańskiej – mity i baśnie o czynach i działaniach bogów słowiańskich lub ich wpływie na życie człowieka praktycznie nie istnieją (Román, 1966, s. 459). Z tego powodu brakuje tu A. Sapkowskiemu punktu odniesienia, nie może zastosować strategii przekształcenia znanej w innych kontekstach opowieści. Postać i historia Żywii jest w opowiadaniu kreacją autora, a zatem zarówno w literaturze polskiej, jak i słowackiej stwarza nowy obraz tego bóstwa. W związku z tym, że nie istniał on w świadomości czytelników wcześniej, ma potencjał utrwalenia się właśnie w tej postaci.

Powyższa analiza dotyczy wyłącznie najlepiej opisanych demonów słowiańskich, które pojawiły się w tomie *Ostatnie życzenie*. Wbrew stwierdzeniu A. Brücknera (1985, s. 65), że „istnienie mitów słowiańskich samo jest mitem”, w zbiorze opowiadań A. Sapkowskiego udało się zidentyfikować 21 różnych demonów¹⁹ występujących w słowiańskich wierzeniach, podaniach i bajkach magicznych. Ze wspomnianych tu opisów wypływa jednak, że często brak jest jednoznacznej ich charakterystyki – w różnych regionach inaczej wyobrażano sobie strzygę, rusałkę czy kikimorę, jak też różne nadawano im nazwy. A. Sapkowski nie rości sobie wcale prawa do etnologicznej wierności, bo niby dlaczego miałby? W metatekstowych komentarzach rozsianych po tomie *Ostatnie życzenie* sugeruje swój utylitarny stosunek do wierzeń – tu – ustami wiedźmina:

„Żaden ze stworów, o których mówili, nie istnieje. (...) Nie kłamali. Głęboko wierzyli w to wszystko.” (Sapkowski, 2012, s. 175).

Następnie wyjaśnia Jaskrowi, skąd bierze się ta ludzka przypadłość do wiary w zabobony:

„Ludzie [...] lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni.” (Sapkowski, 2012, s. 176).

Z powyższych uwag wynika zatem, że A. Sapkowski w swoim pierwszym tomie opowiadań o wiedźminie, choć nawiązuje (między innymi) do słowiańskich wierzeń i bestiariusza, traktuje je raczej jako pretekst do snucia opowieści mieszczących się w ramach (postmodernistycznego) gatunku fantasy. Sam zresztą wyjaśnia ową „nieczystość” świata przedstawionego:

„Z uporem maniaka twierdzę, że w moich książkach nie ma żadnego świata! Jeśli chodzi o ontologię całej tej cywilizacji, to jest ona szczątkowa, służy fabule i tylko do niej jest dopasowana. [...] Mój świat to pseudoświat, to wyłącznie tło [...]” (Bereś – Sapkowski, 2005, s. 273–274).

¹⁹ Niektóre zostały wspomniane tylko jednym zdaniem, dlatego nie są uwzględnione w niniejszym przyczynku. Poza omówionymi w nim, są to (w kolejności alfabetycznej, w nawiasie publikowany przekład słowacki): chobold (kobold), chochlik (zmok), dziwożona (divožienka), latawiec (letuch), latawica (letucha), mamuna (mamún), planetnik (planetník), pochmurnik (mračník), skrzat (zmok), utopiec (vodník), wampir (upír), wilkołak (vlkolak), wiła (víla), wodnik (vodník) oraz zjadarka (žravohlava).

A. Sapkowski odwołuje się więc do wierzeń słowiańskich raczej w sposób luźny, metatekstowy i intertekstualny. Szczegółowa znajomość pierwowzorów nie jest warunkiem koniecznym do odczytania świata przedstawionego zarówno dla odbiorców oryginału, jak i przekładu. Mimo że niektóre ze wspomnianych demonów występują w wierzeniach lub bajkach magicznych różnych krajów jako zupełnie inne istoty, A. Sapkowski i tak dostosowuje je do swoich potrzeb i oddala od pierwotnego obrazu. W takiej sytuacji krytyka przekładu nazw poszczególnych demonów nie ma priorytetowego znaczenia, ponieważ nawet najbardziej luźny przekład (choćby podstawienie goblina za leszego), o ile zawiera w sobie podstawową informację (demon męski), jest zrozumiały, gdyż reszta – opis wyglądu, zachowanie itp. – jest dodana przez samego autora. Być może właśnie dlatego twórczość tego polskiego autora cieszy się równą popularnością na całym świecie, w tym na Słowacji.

Literatura:

- BARANOWSKI, B. (1981): *W kręgu upiórów i wilkołaków*. [dostęp: 2018-14-09.] Dostępne w Internecie: <http://niniwa22.cba.pl/boginki_i_odmience.htm>
- BEREŚ, S. – SAPKOWSKI, A. (2005): *Historia i fantastyka*. Warszawa: Supernowa.
- BOTÍK, J. – SLAVKOVSKÝ, P., ed. (1995): *Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska*. Bratislava: Veda. [ELKS]
- BRÜCKNER, A. (1985): *Mitologia polska i słowiańska*. Warszawa: PWN.
- DOROSZEWSKI, W., red.: *Słownik języka polskiego*. [dostęp: 2018-11-09.] Dostępne w Internecie: <<https://sjp.pwn.pl/doroszewski>>
- DZIWIŚ, M. (2012): Mitologizacja tekstu przekładu jako przykład fałszowania obrazu fantastycznej rzeczywistości (na podstawie przekładu powieści Andrzeja Sapkowskiego "Ostatnie życzenie"). In: *Acta Humana*, nr 3, s. 141–147.
- DŹWIGOŁ, R. (2004): *Polskie ludowe słownictwo mitologiczne*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
- GACEK, D. (2012): *Beskid Wyspowy. Przewodnik*. Pruszków: Rewasz.
- GAWEŁEK, F. (1911): *Palma, jajko i śmigus w praktykach wielkanocnych ludu polskiego*. Lwów: Towarzystwo Ludoznawcze.
- GEMRA, A. (1988): Fantasy – mit opowiedziany na nowo? In: *Literatura ludowa*, nr 2, s. 3–18.
- GIEYSZTOR, A. (2006): *Mitologia Słowian*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- HUDEK, I. (1998): *Báje a mýty starých Slovanov*. Bratislava: Print-Servis.
- JANION, M. (2008): *Wampir – biografia symboliczna*. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
- KACZOR, K. (2006): *Geralt, czarownice i wampir: Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego*. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
- LEHR, U. (1982): Wierzenia demonologiczne we wsi Obidza. In: *Lud*, t. 66, s. 113–149.
- MALÍČEK, J. (2017): (takmer) Dokonalá fantasy. In *Knižná revue*, č. 1, s. 6.
- NÁDASKÁ, K. – MICHÁLEK, J. (2015): *Čerti, bosorky a iné strašidlá*. Bratislava: Fortuna Libri.
- New World Encyclopedia*. [dostęp: 2018-12-09.] Dostępne w Internecie: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Info:Main_Page>
- PAMIĘTA-BORKOWSKA, J. (2011): Polskie i rosyjskie myślenie mityczne na podstawie słowiańskiej literatury fantasy. In: *Acta Polono-Ruthenica*, 16, s. 149–159.
- PROFANTOVÁ, N. (2007): *Encyklopedie slovanských bohů a mytů*. Praha: Libri.
- PROPP, W. (1966): Morfologia bajki magicznej. In: *Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej* 59/4, s. 203–242.
- ROMÁN, J. (1966): *Mýty starého sveta*. Bratislava: Obzor.
- ROSZCZYŃIALSKA, M. (2003): Nowa baśń. Strzyga Romana Zmorskiego i Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. In: *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria* 3, s. 257–266.
- Salix rosmarinifolia*. [dostęp: 2018-12-09.] Dostępne w Internecie: <https://atlas-roslin.pl/gatunki/Salix_rosmarinifolia.htm>

Salix caprea. [dostęp: 2018-12-09.] Dostępne w Internecie: <<https://www.nahuby.sk/atlas-rastlin/Salix-caprea/vrba-rakyt/vrba-jiva/ID7529>>

SAPKOWSKI, A. (1993): *Piróg albo Nie ma złota w Szarych Górach*. [dostęp: 2018-16-09.] Dostępne w Internecie: <<https://sapkowski.wordpress.com/2017/03/17/pirog-albo-nie-ma-zlota-w-szarych-gorach/>>

SAPKOWSKI, A. (2012): *Ostatnie życzenie. Miecz przeznaczenia*. Warszawa: Supernowa.

SAPKOWSKI, A. (2015): *Zaklínač I. Posledné želanie*. Praha: Plus v Albatros Media.

SOROKINA, E. (2014): Семантические процессы в лексике национального языка как отражение развития национальной культуры. In: *Polilog*, nr 4.

VARCHOLOVÁ, N. (2017): *Ludová démonológia Ukrajincov Slovenska*. Svidník: Tlačiareň svidnícka.

WRÓBLEWSKA, V., red.: *Polska bajka ludowa. Słownik*. [dostęp: 2018-12-09.] Dostępne w Internecie: <<http://bajka.umk.pl/sownik/lista-hasel/>> [PBL].

Summary

Does Strzyga Translates (in)to Striga? Slavic Demonology in the Collection of Short Stories *The Last Wish* by A. Sapkowski and its Translation into Slovak Language

This paper deals with Slavic demonology presented in the collection of short stories *The Last Wish* (*Ostatnie życzenie*) by the Polish writer Andrzej Sapkowski. Sapkowski created his own world, where the demons from Slavic mythology, besides German and Celtic, play an important role. The authors of this paper choose 6 demons from the collection of short stories (in Polish: kikimora, leszy, rokita, rusalka, strzyga, Żywia), describe their original function in the Polish mythology and folklore and analyze how these demons were presented in the stories. Then the Slovak translation of the demons is compared with the original names as well as with the Slovak mythology and folklore. Similarities and differences are explained.

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VEGA 1/0304/18 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál.

Kompaktný, aktuálny a kritický úvod do analýzy diskurzu (Cingerová, Nina – Motyková, Katarína: Úvod do diskurznej analýzy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017. 174 s. ISBN 978-80-223-4385-5.)

Michal Bočák

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
michal.bocak@unipo.sk

V roku 2017 vydala Univerzita Komenského v Bratislave vysokoškolskú učebnicu *Úvod do diskurznej analýzy* od Niny Cingerovej z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií a Kataríny Motykovej z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o autorky, ktoré majú s analýzou diskurzu mnoho vlastných teoretických a praktických skúseností, čo – okrem iného – dlhodobo preukazujú aj v časopise *Jazyk a kultúra*, samostatne i v spolupráci (Cingerová, 2012; Cingerová – Motyková, 2013; Cingerová, 2015).

Ako vidno už z názvu, autorky uprednostnili označenie *diskurzna analýza* pred frekventovaným pendantmi *diskurzívna analýza* či *analýza diskurzu*, podobne aj zložitejší angl. termín *critical discourse analysis* prekladajú ako *kritická diskurzna analýza* namiesto možného ekvivalentu *kritická analýza diskurzu*, ktorý spomínajú v pozn. 68 na s. 34. Aj keď je terminológia v tomto smere značne rozkolísaná¹ a „zdá sa, že jde – navzdory občasným polemikám – spíše o autorskou konvencii (tedy bez významnejších sémantických konsekvencií)“ (Lapčík, 2009, s. 97),² za najdôležitejší považujem fakt, že Cingerová a Motyková pristúpili k zreteľnej voľbe a v pomenovaní sú v celej práci konzistentné.

Kniha má sedem hlavných kapitol. Prvá kapitola zrozumiteľne uvádza širší teoretický rámec uvažovania o diskurze, za ktorý je v súčasnosti v mnohých relevantných zdrojoch považovaný sociálny konštrukcionizmus (resp. konštruktivizmus; autorky po diskusii v pozn. č. 12 na s. 11 uprednostňujú prvý variant). Uvedený smer je osvetlený nielen pozitívne, z hľadiska svojich princípov, ale aj negatívne, z pohľadu jeho kritiky – najviac pozornosti sa tu, pochopiteľne a náležite, venuje jeho nekorektnému obviňovaniu z ontologického spochybňovania reality a argumentácii, že v skutočnosti ide o stanovisko epistemologické. Sociálkonštruktivistické východiská sú vhodne ilustrované príkladmi konštruovania národa či kategórií migrácie. Azda len odkaz na tzv. referendum za rodinu, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo v roku 2015 (s. 24), je pochopiteľný skôr iba pre čitateľky a čitateľov, ktoré/í dianie bližšie sledovali, a vzhľadom na predpokladaný gnómickejší charakter učebného textu by sa predsa len žiadalo načrtnúť aspoň základný kontext – mimochodom, situácia sa v základných rysoch opisuje neskôr, v záverečnej úlohe 3. kapitoly (s. 73).

Bezprostredne po náčrte možností paradigmatického štruktúrovania teórie/analýzy diskurzu na začiatku druhej kapitoly je zaradená časť o poňatí diskurzu u Michela Foucaulta. Autorky predovšetkým z *Archeologie vedenia* (Foucault, 2002/2016) správne vyberajú práve tie aspekty, ktoré sú v českom preklade knihy trochu máľúco vysadené menším písmom, takže podľa typografických zvyklostí môžu byť vnímateľné ako menej dôležité (!) – hoci z hľadiska metodiky foucaultovskej analýzy sú práve ony najzásadnejšie, pretože svojou konkrétnosťou a precíznosťou pri pozornom čítaní rozptyľujú pochybnosti o tom, ako foucaultovskú analýzu zrealizovať, resp. či sa to vôbec dá. Objavujú sa tu i stručné príklady, no keďže vo

¹ Aktuálnu situáciu podrobnejšie charakterizuje a hodnotí Soňa Schneiderová (2015, s. 14–15).

² Lapčík konkrétne odkazuje na variantnosť *diskursní/diskursivní analýza*.

Foucaultovom prípade máme do činenia s jednou z najabstraktnejších (a študentsky najobávanejších) analýz diskurzu, nebolo by na škodu, keby sa nimi konceptuálne náročný text ešte viac „priredil“. Výborné je zhrnutie *Čo nás Foucault učí* na s. 53.

Na Foucaultovo chápanie diskurzu organicky nadväzuje tretia kapitola zaoberajúca sa extenzívnou teóriou diskurzu Ernesta Laclaua a Chantal Mouffe. V nej sa vysvetľuje precizovanie niektorých Foucaultových (možnosti vytyčovania hraníc diskurzu) či napr. Saussurových (jazyková hodnota) východísk essexskou školou analýzy diskurzu, no rozoberá sa aj viacero jej špecifických pojmov (napr. uzlový bod, prázdne označujúce).

Štvrtá kapitola poskytuje priestor kritickej analýze diskurzu, ktorej základné črty dobre sumarizuje v rámci na s. 77. Konceptuálnou bázou výkladu je delenie sociálnej praxe na prax diskurzívnu a nediskurzívnu a Faircloughova trojdimenzionálna koncepcia diskurzu, ktorá sa ďalej konfrontuje aj so striktniejšie lingvistickým diskurzívnoanalytickým prístupom Spitzmüllera a Warnkeho. V časti s názvom *Nástroje analýzy* je podrobne rozobraný a na príkladoch demonštrovaný model analýzy od Wodakovej a Riesigla; v rámci na konci kapitoly (s. 99–100) nasleduje aj inštruktívny prehľad analytického postupu podľa duisburskej školy analýzy diskurzu (Jäger a Jägerová). Na rozdiel od predchádzajúcich, prevažne teoretických prístupov ide o konkrétnejší model, ktorý, domnievam sa, umožní predstaviť si a uskutočniť vlastnú analýzu.

Piata kapitola je venovaná sociokognitívnemu poňatiu analýzy (resp. štúdií) diskurzu, formulovanému van Dijkom. V úvode kapitoly (s. 105) sa naznačuje, že ide skôr o rámcovú perspektívu než o jednoznačnú metódu, a tak prevažujú van Dijkove konceptualizácie kľúčových pojmov, podchvíľou doplnené uvedením problémových okruhov, ktorými sa výskumne zaoberá. Z didaktického hľadiska by tu bolo vhodné naznačenie konkrétnejšieho postupu, hoci len bodového, ako je to v predchádzajúcich kapitolách, resp. analytická aplikácia niektorého z van Dijkových pojmov (napr. ideologického štvorca, ktorého praktické využitie názorne vysvetľuje napr. Sedláková, 2014, s. 450–455). Zatiaľ čo vo zvyšku knihy sú citáty z cudzích jazykov autorkami prekladané (pozri aj pozn. 11 na s. 9), v tejto časti sú aj dlhšie citáty van Dijka ponechané v pôvodnom, anglickom znení – v učebnici by ich aj tu bolo vhodnejšie preložiť, zvlášť ak sa originálne formulácie nejavia ako interpretačne zásadné.

Objektom šiestej kapitoly o kolektívnej symbolike sú vlastnosti a fungovanie kultúrne zdieľaných symbolov, figúr a metafor v diskurzoch, pričom sa skúma ich polysémický, konotatívny, obrazný charakter. Reprodukovaná schéma Jägera a Jägerovej na s. 120 je, žiaľ, vplyvom kvality tlače temer nečitateľná a viacero viet jej sprievodného textu na s. 120–121 sa opakuje. Problematika je však opäť výborne podložená rozmanitými príkladmi.

Siedma kapitola svojím názvom avizuje multimodálnu analýzu diskurzu, pričom na začiatku obhajuje (aj s odkazom na multimodálne chápanie označovania v sociálnej semiotike) potrebu metodologického posunu za hranice jazyka, rozšírenie analýzy do iných módov než verbálneho, osobitne do vizuálneho módu (v prípade obálky časopisu sa ako módy explicitne skúmajú písmo a obraz; s. 148–150). Dobré sa vysvetľujú pojmy paradigma a syntagma, vrátane užitočných techník komutačného a permutačného testovania. Azda preto, že sa táto časť explicitnejšie hlási k semiotike, by som práve tu – možno je to však len osobná preferencia a zvyk – očakával rozpracovanie teórie konotácie (stručnejšie sa uvádza už pri kolektívnej symbolike na s. 123–126) či barthesovských mytológií; skôr než napr. viac-menej iba načrtnutú Peircovu kategorizáciu znakov. Vzhľadom na množstvo semiologických/semiotických konceptov jestvujúcich v literatúre pôsobí táto kapitola miestami až ukážkovo, výberovo.

Úlohy v závere každej kapitoly majú voľnejší charakter: spravidla nejde o konkrétne cvičenia, v ktorých sa „problém“ tu a teraz vyrieši – zvlášť u analytičiek a analytikov diskurzu by to bola predstava nanajvýš naivná –, ale o návody na ďalšie štúdium, uvažovanie,

hľadanie potenciálnych riešení. Popri mediálnych textoch sa ako analytické ukážky používajú aj iné texty z verejnej sféry, napr. artefakty z urbánnych priestorov, ako sú graffiti či pamätníky (s. 70, 151, 154), čím sa nepriamo upozorňuje, že diskurzy k nám v dôsledku svojej pervazívnosti (Bočák, 2017, s. 9) prehovárajú prakticky kdekoľvek, a tak vybudovaná analytická perspektíva nenachádza uplatnenie iba pri analýze napr. novinových článkov na vysokoškolskom seminári, ale vôbec pri každodennom pohybovaní sa v (diskurzívnej) realite. Okrem už uvedených nedostatkov, ktoré vonkoncom nie sú závažné a nič nemenia na celkovom vysoko pozitívnom dojme z publikácie, predsa len treba upozorniť na potrebu ešte dôslednejšej jazykovej korektúry, aj keď text ako celok vyznieva veľmi kultivovane.

Blížiac sa k záveru, s potešením konštatujem, že v slovenskom jazykovom prostredí konečne pribudla kvalitná monotematická učebnica analýzy diskurzu,³ ktorá je schopná aj zložité koncepty vysvetliť pomerne jednoduchým spôsobom, avšak bez skreslení, ktoré pri simplifikácii komplexných teórií bežne vznikajú. Text počíta s čitateľskou základňou schopnou a ochotnou jednotlivé prístupy samostatne porovnávať a abstrahovať: javí sa ako vnútorne súdržný, no záver s ambíciou zhrnúť a preklenúť diferencie jednotlivých prístupov – možno i zámerne – absentuje. Nemá to však byť práve tak? Mali by sa multidisciplinárne a multiparadigmatické štúdiá diskurzu disciplinovať, keď sa samy snažia praktiky disciplinujúce vedenie dekonštruovať?

Skladba autorského tímu (rusistka a škandinavistka) dovoľuje rozpracovať problematiku s využitím odborných zdrojov či analytických ukážok nielen z anglofónnej jazykovej sféry, čo skutočne „zaručuje diverzifikovaný ilustračný materiál na jednej strane a na strane druhej zastúpenie rôznych sociokultúrnych priestorov pri analýzach“, ako sa píše na s. 9. Navyše, text ani zd'aleka nie je iba mechanickým, sterilným spracovaním problematiky; naopak, je doslovne presiaknutý kritikou, neodmysliteľne angažovanou perspektívou, dekonštruujúcou súčasné sociálne nerovnosti a nespravodlivosti – študentom a študentkám tak umožní na jednotlivých príkladoch z rôznych hľadísk pochopiť, ako sa ideologicky kategorizujú subjekty z hľadísk etnicity, sexuality, genderu a pod. Zmyslom analytický a študentsky zbytočne demonizovanej analýzy diskurzu, a hádam aj súčasných humanitných a sociálnych vied ako takých, totiž nie je len „vykonať“ analýzu, ale neprestajne kultivovať svoju analytickú a cez ňu napokon i sociálnu citlivosť, empatickosť voči Inému.

Recenziu si dovoľím uzavrieť o čosi subjektívnejšie. Čítanie *Úvodu do diskurznej analýzy* pre mňa ako subjekt dlhé roky formovaný práve teóriou a analýzou diskurzu na mnohých miestach nebolo prekvapivé; autorky v súlade so žánrom vysokoškolskej učebnice, ktorý vlastne má byť založený na reprodukcii odborového diskurzu, prezentujú fundamentálne teoretické koncepcie opisovanej vednej oblasti. Na druhej strane som s uspokojením sledoval, ako sa v patričných textových pozíciách vynárajú náležité fakty – lebo nemôžu inak – a ako logicky sa téma rozvíja do kompaktného diela. Nina Cingerová a Katarína Motyková, autorky s pre mňa i navzájom odlišným disciplinárnym zázemím, ponúkajú nové perspektívy aj svieže príklady, vo svojom diskurze o diskurze účinne rozvíjajú wodakovské kritické stanovisko⁴ a sústavne podnecujú k ďalšiemu uvažovaniu. Na úvod/Úvod to ani zd'aleka nie je málo.

³ Doplňme, že v knižke sa, podľa mňa rozumne, vynechávajú jednak analýza konverzácie (resp. konverzačná analýza – pozri aj s. 9), jednak pokusy o uchopenie analýzy diskurzu v reduktívnom lingvistickom (jazykovom) zmysle – vo všetkých prípadoch sa akcentuje sociálna perspektíva označovania.

⁴ „Kritická“ znamená nebrať veci ako dané, odkrývať komplexnosť, vyzývať redukcionizmus, dogmatizmus a dichotómie, byť sebareflexívnou vo svojom výskume a pomocou týchto procesov robiť nepriehľadné štruktúry mocenských vzťahov a ideológií zjavnými. „Kritická“ teda nenaznačuje bežný význam „byť negatívnou“ – skôr „skeptickou“. (Wodaková in Kendall, 2007)

Poznámka: Elektronická verzia učebnice je sprístupnená na stránke https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krvs/ZS_2018_2019/Uvod_do_diskurznej_analyzy.pdf

Literatúra:

- BOČÁK, M. (2017): Mediálne texty ako neskolaudované križovatky (k samoúčelnosti intertextuality v textoch populárnych médií). In: *Jazyk a kultúra*, 8/29-30, s. 8–17. [Cit. 2018-10-15.] Dostupné na internete: <http://www.ff.unipo.sk/jak/29-30_2017/Michal_Bocak_studia.pdf>
- CINGEROVÁ, N. (2012): Štruktúrovanie diskurzu v teórii E. Laclaua a Ch. Mouffovej a jej miesto v rámci diskurznych štúdií. In: *Jazyk a kultúra*, 3/9, [nestránkované]. [Cit. 2018-10-11.] Dostupné na internete: <http://www.ff.unipo.sk/jak/9_2012/cingerova.pdf>
- CINGEROVÁ, N. (2015): Diskurzne stratégie modelovania obrazu *druhého* (na príklade týždenníka *Argumenty i fakty*). In: *Jazyk a kultúra*, 6/21-22, s. 4–11. [Cit. 2018-10-11.] Dostupné na internete: <http://www.ff.unipo.sk/jak/21-22_2015/Cingerov%C3%A1_%C5%A1t%C3%BAdia.pdf>
- CINGEROVÁ, N. – MOTYKOVÁ, K. (2013): Analýza dispozitívu ako nadstavba diskurznej analýzy. In: *Jazyk a kultúra*, 4/16, [nestránkované]. [Cit. 2018-09-25.] Dostupné na internete: <http://www.ff.unipo.sk/jak/16_2013/cingerova_motykova.pdf>
- CINGEROVÁ, N. – MOTYKOVÁ, K. (2017): *Úvod do diskurznej analýzy*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
- FOUCAULT, M. (2002): *Archeologie vědění*. 1. vyd. Praha: Herrmann & synové.
- FOUCAULT, M. (2016): *Archeologie vědění*. 2. vyd. Praha: Herrmann & synové.
- KENDALL, G. (2007): What Is Critical Discourse Analysis? Ruth Wodak in Conversation With Gavin Kendall. In: *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 8/2. [Cit. 2018-10-15.] Dostupné na internete: <<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/255/561>>
- LAPČÍK, M. (2009): Diskurs jako téma diskursu: O diskursu bez Habermase i bez Foucaulta? In: *Kultura – média – komunikace*, 1/1, s. 93–116.
- SEDLÁKOVÁ, R. (2014): *Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky*. Praha: Grada.
- SCHNEIDEROVÁ, S. (2015): *Analýza diskurzu a mediální text*. Praha: Karolinum.

Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočnického centra na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Вероника Ивановна Ярмач: Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти. Київ: Освіта України, 2018. 484 с.

Александр Казимирович Гадомский

Опольский университет, Польша
akazsimf@mail.ru

Среди последних украинских лингвистических новинок в области славянской филологии следует особо выделить монографию Вероники Ивановны Ярмач «Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти» («Семантика и прагматика темпоральности в сербском литературно-художественном дискурсе: структурные, стилистические и компаративные аспекты»). Структура монографии представляется логичной. Монография состоит из четырёх разделов; промежуточных выводов к каждому из разделов; общих выводов; списка лексикографических источников; списка использованной литературы (602 позиции); списка использованных литературных источников (176 позиций); общих выводов и приложения.

Вступительная часть и первый раздел «Теоретичні засади вивчення претеритальних часових форм у сучасній сербській та східнослов'янських літературних мовах» («Теоретические основы изучения претеритальных временных форм в современном сербском и восточнославянских литературных языках») свидетельствуют о хорошей осведомлённости автора в истории вопроса, а также о том, что она свободно ориентируется во всём, что имеет отношение к исследуемому кругу вопросов, комментируя, местами критически, концепции других исследователей.

Второй раздел монографии «Типологія використання граматичних засобів на позначення минулого часу в різножанровому сербському літературному дискурсі» («Типология использования грамматических средств обозначения прошедшего времени в разножанровом сербском литературном дискурсе») посвящён исследованию канонических приёмов использования грамматических средств обозначения прошедшего времени. В частности, автор последовательно рассматривает семантико-экспрессивный потенциал претеритальных форм сербского глагола в описаниях природы, внешности и психологического состояния героя и т. д.

Лучшему пониманию и осознанию авторских тезисов содействует детализированная структура текста книги, особенно её третьего и четвёртого разделов. Третий раздел монографии «Особливості реалізації претеритальних форм дієслова у різножанровому сербському літературному дискурсі» («Особенности реализации претеритальных форм глаголов в разножанровом сербском литературном дискурсе») представляет неповторимое разнообразие использования грамматических средств обозначения прошедшего времени в тех жанрах сербской литературы, благодаря которым она заняла заслуженное место в европейском и мировом литературном контексте.

В четвёртом разделе «Семантика сербських і східнослов'янських форм минулого часу в різножанровому художньому перекладі» («Семантика сербских и восточнославянских форм прошедшего времени в разножанровом художественном переводе») за счёт анализа основных видов переводческих трансформаций и механизма

действия художественных кодов автор находит дополнительный путь для поиска внутренней формы сербских и восточнославянских граммем прошедшего времени.

Богатый художественный материал и надлежащая методологическая база позволили автору монографии сделать ряд основательных, убедительных и теоретически значимых выводов, подкреплённых данными статистических подсчётов количества употреблений глагольных средств обозначения прошедшего времени, что отражено в *Приложении*. Стил изложения отличается чёткостью и последовательностью, отсутствием перегруженности сложной и не всегда целесообразной терминологией, то есть вполне достаточной прозрачностью.

Правда, иногда утверждения автора представляются несколько декларативными, так как не всегда подтверждаются примерами (это касается преимущественно второго и третьего разделов). Однако эти замечания, скорее, имеют характер пожеланий, поскольку они не касаются концептуальных основ монографии и не подвергают сомнению её актуальность, новаторскую направленность.

Таким образом, принимая во внимание изложенные соображения, следует сделать окончательный вывод: есть все необходимые основания для того, чтобы одобрить монографию Вероники Ивановны Ярмек *«Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти»* (*«Семантика и прагматика темпоральности в сербском литературно-художественном дискурсе: структурные, стилистические и компаративные аспекты»*) как действительно законченное, целостное и значимое научное исследование.

O cudzojazyčnom vyučovaní (nielen ruštiny) komunikačne a efektívne

(Петрикова, Анна – Кулькова, Раиса: Иноязычное общение в аспекте проблемного обучения. Теория и практика Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2017. 188 s. ISBN 978-80-555-1917-3)

Ján Gallo

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

jgallo@ukf.sk

V roku 2017 vydavateľstvo Prešovskej univerzity vydalo vysokoškolskú učebnicu *Inojazyčnoje obščeniye v aspekte problemnogo obučeniya. Teorija i praktika/Cudzojazyčná komunikácia z pohľadu problémového vyučovania. Teória a prax* z autorskej dielne A. Petríkovej a R. Kul'kovovej. Učebnicu autorky adresujú všetkým so záujmom o komunikačné cudzojazyčné vzdelávanie na pokročilej úrovni s akcentom na ruský jazyk. Predloženou učebnicou autorky reagujú na nové požiadavky vyučovania cudzích jazykov zameraných na rozvíjanie ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku.

Stotožňujeme sa s názorom autoriek, že počas cudzojazyčnej výučby študentov, ktorí ovládajú ruský jazyk na pokročilej úrovni, musí byť pri ich vzájomnej komunikácii s vyučujúcimi táto úroveň zachovaná, t. j. autorky zostavili danú učebnicu s cieľom napomôcť študentom udržať danú úroveň. Na základe toho sa A. Petříková a R. Kul'kovová rozhodli v učebnici použiť modulový prístup. Ten na jednej strane umožňuje aktuálne uplatniť aj zásady problémového vyučovania, na strane druhej prezentovať učivo vo forme modulov. V zhode s autorkami konštatujeme, že „проблемно-модульная образовательная технология в полной мере реализует идеи инноваций в образовании“ (s. 6).

Recenzovaná vysokoškolská učebnica predstavuje prvé vydanie, ktoré obsahuje dve ťažiskové časti: teoretickú a praktickú. Okrem nich je do učebnice zaradený úvod, zoznam použitej literatúry s uvedením prameňov a internetových zdrojov, vecný register a resumé v ruštine a angličtine s uvedením kľúčových slov. Autorkou teoretickej časti (*Inojazyčnoje obščeniye v aspekte problemnogo obučeniya*) je A. Petříková a rieši v nej problematiku komunikovania v cudzom jazyku z aspektu problémového vyučovania. Teoretická časť ako celok sa člení na niekoľko podkapitol. V prvej podkapitole (s. 9–10) autorka pertraktuje problematiku dorozumievania sa ako predpokladu všestranne rozvinutého jedinca, pričom v rámci štruktúry dorozumievania sa vyčleňuje komunikačný, interaktívny a percepčný komponent. V druhej podkapitole (s. 10–16) A. Petříková poukazuje na dôležitosť a možné problémy pri dorozumívaní sa študentov – zástupcov rozličných kultúr. V tretej podkapitole (s. 16–18) autorka akcentuje prehlbovanie vzájomnej interakcie medzi študentmi počas vyučovacej hodiny z hľadiska problémového vyučovania. Štvrtá podkapitola (s. 18–24) je venovaná problematike bezprostrednej prirodzenej komunikácie študentov cudzích jazykov na základe vlastného hodnotenia o niečom, čo sa udialo, alebo o nejakých zmenách v reálnej situácii, čo by zaujalo aj spolužiakov, ale taktiež komentovanie faktov, udalostí (личностно-ориентированное обучение), t. j. pomocou modelovania problémových situácií sa študenti učia samostatne nájsť neštandardné riešenia rôznych problémov. Samotná autorka k danej problematike zadáva aj niekoľko rečníckych otázok (*Как разработать материалы для непринуждённого общения на непрофессиональные темы? Какую тематику предпочесть?*), pričom podľa jej názoru „... чтобы общение на уроке было не учебным, а

настоящим, надо присмотреться к реальному общению в естественных условиях“ (s. 19). V tejto súvislosti sa nezabúda ani na úlohu samotného vyučujúceho, ktorý, ako uzatvára autorka, „становится на уроках-беседах и уроках-дискуссиях для студентов старшим товарищем, советчиком, настоящим партнёром по неформальному речевому общению. Педагог должен гибко реагировать на высказывания учащихся, деликатно и тонко направляя их внимание на главное в теме и её детали. В ходе дискуссии педагог тоже обогащает свой внутренний мир: зачастую учащиеся высказывают такие идеи, которые педагогу не приходили в голову“ (s. 23–24). V podkapitole 1.5 (s. 24–41) A. Petříková uvádza rad konkrétnych odporúčaní (praktických postupov, ktoré podrobnejšie vysvetľuje v ďalších bodoch), ako by vyučujúci (aj začínajúci) mohol efektívne viesť seminár na vysokej škole zameraný na rozvíjanie rečovej kompetencie slovenských študentov v ruštine. V druhej časti podkapitoly 1.5 autorka taktiež prezentuje aj niekoľko zásad, na základe ktorých by v rámci problémového vyučovania bolo možné na vyučovacích hodinách ruského jazyka pre cudzincov vytvoriť vlastné texty, pričom dochádza k záveru, že „для урока по развитию речи необходимо писать мини-тексты-тезисы проблемного характера. В этих коротких текстах должны подниматься общечеловеческие проблемы, и представлены они должны быть в виде тезиса, то есть какой-то проблемы, и набора разных мнений, которые возможны при её обсуждении“ (s. 35). Uvedenie podkapitoly 1.5 ako celok hodnotíme veľmi pozitívne.

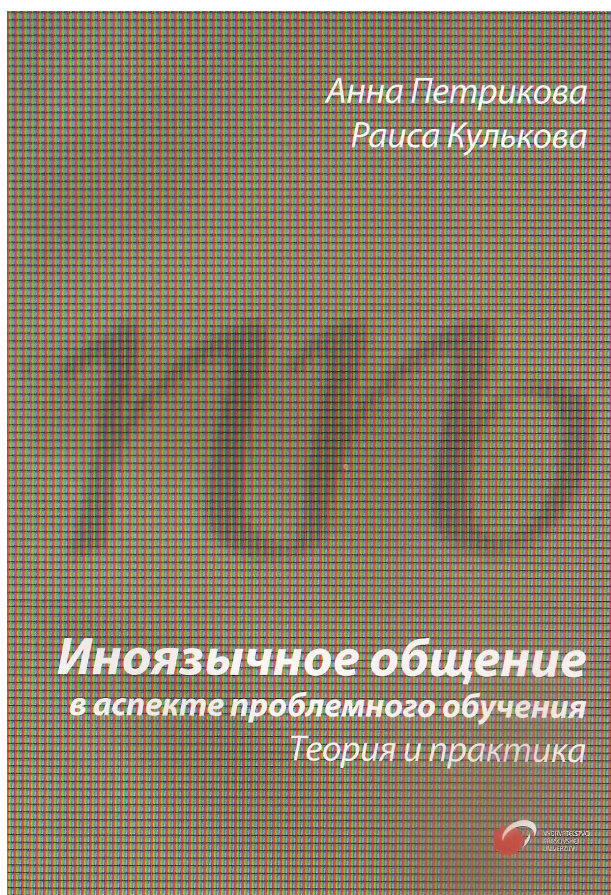
Praktická časť (*Problemnyje teksty dl'a besed i diskussij na russkom jazyke dl'a lic, govorjaščich po-slovacki*), ktorej autorkou je R. Kuľkovová, pozostáva zo 14 modulov. Každý modul predstavuje samostatnú tému pozostávajúcu z textov, ktoré s danou témou úzko súvisia. Každá téma taktiež obsahuje situácie na vedenie dialógov, zamyslenie sa nad výroky a témy slohových prác. Špecifikum modulov spočíva v tom, že majú multifunkčné využitie. Vyučujúci môže podľa svojho uváženia samostatne kombinovať učivo, čím si vytvorí svoje minimoduly. Všetkých 14 modulov spolu s vytvorenými minimodulmi je možné vo vyučovacom procese aplikovať nielen na získanie kulturologických „fónových“ informácií, ale taktiež pri vysvetľovaní a precvičovaní gramatických tvarov a rozvíjaní novej slovnej zásoby u študentov, čím dochádza zároveň k opakovaniu gramatických javov a aktívnej lexiky s možnosťou použitia aj pasívnej slovnej zásoby. Na konci modulov R. Kuľkovová uvádza aj kľúčové slová a slovné spojenia (so slovenskými prekladovými ekvivalentmi) vyskytujúce sa v jednotlivých témach príslušného modulu. Vysoko oceňujeme výber tém v rámci jednotlivých modulov (ide o základné všeobecné okruhy tém), ktoré adekvátne reflektujú požiadavky súčasnej doby. Oceňujeme aj skutočnosť, že materiál praktickej časti je ladený všeobecne, t. j. bez uvedenia konkrétnych mien, krajín a udalostí, pričom modulový prístup zabezpečí selektívny výber tej-ktorej témy a otázky. Pozitívne hodnotíme aj výber krátkych náležite adaptovaných východiskových textov, situácií a výrokov s možnosťou ich zjednodušenia alebo doplnenia. Plne sa stotožňujeme s názorom autoriek, že „использование этих материалов будет эффективно в организации учебного общения преподавателя с учащимися на занятиях по развитию речи. Обсуждение представленных в текстах проблемных ситуаций стимулирует обмен мнениями, вызывает обучаемых на беседу, в ходе которой, с одной стороны, развиваются навыки говорения, а с другой стороны, происходит развитие личности студента, его поисково-исследовательской и речемыслительной деятельности“ (s. 6–7). Kladne hodnotíme aj označenie ruského slovného prízvuku v samotných textoch, témach na písanie slohovej práce a v ruskej slovnej zásobe.

R. Kuľkovová v predslove k praktickej časti uvádza aj stručný metodický postup s uvedením opisu metód, ako by vyučujúci mohol postupovať pri práci s daným materiálom, čo považujeme za ďalšie pozitívum recenzovanej učebnice. Autorka v predslove vhodne akcentuje aj neformálny charakter vedenia diskusie, t. j. jej zacielenie na každodennú

komunikáciu, pričom zdôrazňuje vyváženosť živej diskusie s lexikálno-gramatickou analýzou textov. Vysoko vyzdvihujeme aj uvedenie zoznamu typických ruských replík (s prekladovými ekvivalentmi v slovenčine) vhodných na vedenie diskusií (s. 49–52).

Za zmienku stojí aj grafická úprava, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť učebných textov a učebníc cudzích jazykov. S radosťou konštatujeme, že grafická úprava recenzovanej učebnice je náležitá, prehľadná, a zároveň motivujúca, k čomu v neposlednom rade prispievajú aj doložené fotografie v retro štýle s popiskami.

Súhrnne konštatujeme, že empirická časť recenzovanej vysokoškolskej učebnice obsahuje jedinečný materiál, ktorý v slovenských podmienkach nebol podobným spôsobom spracovaný a verejne publikovaný. Vynaložené úsilie autoriek A. Petrikovej a R. Kul'kovovej sa v danej publikácii plnohodnotne zúročilo a učebnicu ako celok možno hodnotiť len tou najvyššou známku. Dúfajme, že v blízkej budúcnosti autorky obohatia knižný trh o ďalší kvalitný titul zo svojej autorskej dielne.



Bojničanová, Renáta – Tomášková, Simona – Vajíčková, Mária (eds.): *Filologické štúdie* 3. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag 2017. 244 s. ISBN 978-3-943906-37-0

Ľubomír Holík

Ústav cudzích jazykov, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
lubomir.holik@fmed.uniba.sk

V roku 2017 vyšlo už tretie pokračovanie zborníka *Filologické štúdie*. Tento súbor textov býva publikovaný každoročne od roku 2015. Obsahuje príspevky študentov doktorandského štúdia z rôznych pracovísk z celého Slovenska, Českej republiky, dokonca aj Poľska, ktoré sa môžu, ale nemusia prezentovať v predstihu na konferencii s názvom Medzinárodná konferencia doktorandov. Taktiež účasť na menovanom podujatí nepodmieňuje následne publikovanie v zborníku. Publikácia a aj konferencia prebiehajú pod záštitou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, knižná verzia štúdií adeptov doktorandského štúdia vychádza v Nemecku vo vydavateľstve KIRSCH-Verlag. Študentské výstupy sa zameriavajú na filologické témy s tým, že sa príspevky delia na tri okruhy – *Jazykovedné štúdie*, *Didaktické štúdie* a *Literárnovedné štúdie*. Štúdie sú písané v rôznych jazykoch, v tomto článku sa zameriame detailne iba na tie písané v slovenskom a českom jazyku.

V prvom okruhu *Jazykovedné štúdie* je 8 príspevkov, z toho 3 – *Formale Abgrenzung der präpositionalen Wortverbindungen* od Jany Tabačkovej; *Zur Komplementarität der Valenz- und Konstruktionsgrammatik* od Lucie Mihálikovej a *Pragmatische Aspekte der Verwendung von Formeln in mündlicher Interaktion* od Simony Tomáškovej – sú v nemeckom jazyku. Prvá štúdia v slovenskom jazyku s názvom *Typológia abreviatúr v súdnych rozhodnutiach vydaných súdmi v Anglicku* je od Andrey Demovičovej. Autorka príspevku pripomína, že právny jazyk neobsahuje veľa viacslovných pomenovaní, čiže je v nich tendencia skracovať slová a slovné spojenia. Skúmala tvorbu skrátených slov v právnych aktoch súdnych orgánov, ktoré spadajú pod sústavu všeobecného súdnictva v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Používa delenie abreviatúr na neeliptické alfabety, eliptické alfabety, rozšírené alfabety a eliptické a rozšírené alfabety. Autorka vyslovila hypotézu, že v textoch, ktoré si zvolila, budú prevažovať neeliptické alfabety. Výsledky jej výskumu ukázali, že z 1210 skratiek, ktoré našla, je až 920 neeliptických, čím sa potvrdila jej počiatočná hypotéza.

Ďalší príspevok z prvého okruhu je od Sylvie Kummer a volá sa *Špecifiká anglickej právnej terminológie*. Autorka uvádza ako základné požiadavky právneho jazyka tieto: významová presnosť, jednoznačnosť, stručnosť, zrozumiteľnosť, účelnosť, ustálenosť a neexpresivnosť. Poukazuje aj na to, že často majú niektoré lexémy odlišný význam v bežnej reči a v právnych textoch. Z angličtiny uvádza príklad *performance*, čo znamená predstavenie napríklad v divadle alebo výkon vo filme. V právnom odvetví však znamená plnenie zmluvy. Čo sa týka angličtiny, je zaujímavosťou, že v rôznych podobách angličtiny v rôznych štátoch existujú rôzne termíny. Napríklad v Anglicku sa používa slovo *pupillage* pre koncipientskú prax, ale v Škótsku je na to isté slovo *devilling*. V závere štúdie autorka uvádza, že pri preklade textov z angličtiny do slovenčiny je nutné poznať aj právny poriadok príslušnej anglickej hovoriacej krajiny.

Emócie hnevu vyjadrené v slovenských a v rumunských frazeologických jednotkách je ďalší príspevok z prvého okruhu, ktorý napísala Marka Bireş. V centre jej príspevku sú Slováci žijúci v Rumunsku, ktorí fungujú v dvoch jazykových systémoch. Autorka uvádza

ako prvú frazému *vyliat' si na niekom hnev* alebo *vyliat' si na niekom zlosť*, rumunský ekvivalent v slovenskom preklade je *vyliat' si jed/vyliat' zo seba zlobu*. Pri porovnaní slovenských a rumunských frazém dospela k záveru, že v slovenčine je dôležitý objekt aj subjekt deja, kým v rumunčine iba subjekt.

Dalším textom je štúdia *Názvy sviatkov vianočného obdobia vo vybraných slovanských jazykoch* od Stanislavy Šušćákovéj. Autorka sa zamerala na podobnosti v slovenčine, poľštine a ruštine. Z jej štúdie vyberáme časť o názve *Vianoce*, mnohé jazyky prebrali svoje názvy pre tieto sviatky z latinského *nativitas Domini nostri Iesu Christi*. V prípade slovenských Vianoc a českej verzie *Vánoce* ide o preklad nemeckého *Weinachten* = svätá noc.

Záverečnou štúdiou v prvom bloku textov je *Hurbanova obrana štúrovského jazyka – Ćeskyje hlasi proti slovenćiĚe* od Ivany Klabníkovéj. Autorka sa zaoberá spisom Jozefa Miloslava Hurbana *Ćeskyje hlasi proti slovenćiĚe*, ktorý bol odpoveďou na zborník *Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Ćechy, Morawany a Slowáky*, ktorého hlavným iniciátorom bol Ján Kollár. Hurban reaguje len na štyroch autorov, ktorí predložili relevantné dôvody proti spisovnej slovenčine – Františka Palackého, Josefa Jungmanna, Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára.

Druhý okruh zborníka nesie názov *Didaktické štúdie*. Táto časť obsahuje päť štúdií, z toho dve sú v nemčine s názvami *Kunst in DaF-Unterricht: Lust auf Instrumentalmusik?* od Adama Brutovského a *Begleiterscheinungen des Spracherwerbs* od Miriam Matulovej.

Prvou analyzovanou štúdiou je *Cestopis a inovatívne metódy pri práci s týmto žánrom na stredných školách* od Ľubomíra Holíka. Autor spomína dva prístupy k vyučovaniu literatúry na stredných školách – tradičný chronologický prístup a novší genologický. Ten prvý cestopis dosť často obchádza, len ho spomenie vo výpise diel, ktoré autor napísal. Avšak ten druhý má, podľa autora, väčší potenciál poskytnúť cestopisu priestor, i keď aj tam cestopis ustupuje iným žánrom. Preto autor navrhuje preberať cestopis na hodinách seminára zo slovenského jazyka alebo sa mu venovať formou workshopov a prednášok po vyučovaní, čo sa však nemusí stretnúť so záujmom žiakov. V závere autor uvažuje nad budúcnosťou cestopisu ako žánru. Jeho pohľad je optimistický a myslí si, že tento žáner, aj ak by zanikol v tradičnom knižnom prevedení, prežije v elektronickej podobe formou blogov, vlogov. Preto vidí aj zmysel v tom, aby sa cestopisu venoval priestor na stredných školách, a naznačuje, že je tento žáner skvelou príležitosťou na projektové vyučovanie a využívanie moderných technológií.

Další príspevok s názvom *Problematika jazykovej normy ve výuce angličtiny* je od Simony Kalovej. Kľúčovou otázkou tohto príspevku je, či pri výučbe angličtiny ako druhého alebo cudzieho jazyka treba využiť normu rodeného hovoriaceho (native speaker norm) alebo angličtinu ako lingua franca (English as a lingua franca – ELF). Tá prvá je štandardný variant angličtiny používaný vzdelanými rodenými hovoriacimi, je to ideál, ku ktorému sa chcú dopracovať tí, čo sa učia jazyk. Druhá norma, čiže angličtina ako lingua franca, znamená, že angličtina slúži na komunikáciu medzi nerodenými hovoriacimi, ktorí majú iné materinské jazyky, jej cieľom je dorozumieť sa i napriek chybám. Autorka štúdie sa rozhodla pre výskum preferencií českých vysokoškolských študentov, študujúcich anglický jazyk, z hľadiska výslovnosti a gramatiky pri oboch spomínaných normách. Študenti odpovedali na otázky o výslovnosti a gramatike, reagovali na výroky a následne ešte zdôvodnili svoju voľbu. Pri výslovnosti autorka zistila, že väčšina respondentov uprednostňuje normu rodeného hovoriaceho. Pri gramatike boli na výber – typický medzijazyk (A1), tradičná gramatika ako v učebniciach (B1) a model rodeného hovoriaceho (C1), ktorý používa formálnu a aj neformálnu gramatiku. Až 71 % študentov si vybralo model C1. Autorka navrhuje, že by bolo zaujímavé zapojiť do výskumu aj študentov iných odborov, ako aj respondentov v zrelšom veku, ktorí sa angličtinu učia v jazykových školách. Taktiež by autorka rada zaradila do

výskumu aj učiteľov angličtiny, aj rodených hovoriacich a aj učiteľov s rovnakým materinským jazykom ako študenti.

Posledná štúdia z druhej sekcie nesie názov *Miesto elektronickej variety anglického jazyka vo výučbe* a je od Evy Maierovej. Autorka uvádza, že informačné a komunikačné technológie (IKT) sú súčasťou našich životov a je nutné poznať kód, v ktorom cez ne prebieha komunikácia. Napriek tomu, že digitálne sprostredkovaná komunikácia je rozšírená a populárna, pri výučbe cudzích jazykov sa nevyužíva. V učebniciach sa síce o formách takejto komunikácie píše, žiaci píšu elektronickú poštu, prípadne majú odkazy na ďalšie informácie na internete. Avšak, ako konštatuje autorka, priame texty, ako chaty alebo krátke textové správy, v učebniciach absentujú. Autorka navrhuje učebné materiály, ktoré by tieto potreby implementovali. Vypracovala dve vzorové lekcie na témy *Twitter* a *Blogy*, ktorých súčasťou bol aj kľúč odpovedí pre vyučujúceho, a prax ukázala motivujúci charakter tohto typu učebného materiálu.

Posledná časť s názvom *Literárnovedné štúdie* obsahuje až 9 štúdií a všetky sú buď v slovenčine, alebo v češtine. Prvý príspevok je od Adriany Parížekovej s názvom *Pôvod a vznik postmoderny*. Napriek zažitej informácii, že sa postmoderna začala v 60. rokoch 20. storočia, autorka nachádza jej počiatky ešte pred spomínanou dekadou. Ako píše, špecifikom postmodernizmu je, že hranice medzi ním a modernizmom sú veľmi úzke a často ani literárni kritici nemajú jasno v tom, kam niektoré diela patria, a zároveň postmodernizmus nebol sprevádzaný žiadnym manifestom ani radikálnou zmenou v štruktúre či histórii spoločnosti.

Barbora Čaputová prispela do zborníka výstupom *Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse*. Autorka píše o dvoch mysliteľoch spomenutých v názve svojho príspevku, pretože obaja napriek tomu, že pochádzajú z Európy, boli inšpirovaní indickou filozofiou. Eliade kritizoval európsku obmedzenosť a postoj vtedajšej spoločnosti k indickej filozofii, ktorá ju nepovažovala za skutočnú filozofiu. Autorka dospela k zisteniu, že Eliade a Hesse „zápasia s problémom vlastnej historickosti, ktorej zmysel sa môže objaviť až na pozadí absolútna (zmierenia protikladov, jednoty) a veľkého času. Stret individuálnej histórie s nadčasovým poriadkom sveta môže priniesť človeku vnútorné oslobodenie *hic et nunc* aj v jeho nedokonalom stave časovej podmienenosti“ (s. 175).

Nasleduje príspevok s názvom *Cervantesova dráma ako zrkadlo drámy* od Anny Ďurišikovej. Autorka hneď v úvode uvádza, že pre slovenského čitateľa je Miguel de Cervantes známy skôr ako románopisec a napriek tomu, že aj jeho dramatické diela boli preložené do slovenčiny a inscenovali ich slovenské divadlá, ako dramatik nie je známy. Uvádza zaujímavosť, že sa Cervantes, ako jeden z prvých, venoval technike metadivadla. Jeho dramatické diela rozdelila do dvoch skupín – Svet divadla a Divadlo sveta. Prvý celok je motív hry v hre. Druhý celok Divadlo sveta sú hry, v ktorom ide o princíp roly v role, zmenu identity. V závere spomína autorka, že Cervantesove dramatické diela sú kritikou toho, že ľudia často hrajú divadlo, aby získali, čo chcú.

Štúdia *Začiatky prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny so zameraním na prózu* pochádza od Nataše Burcinovej. Autorka píše o tom, že do roku 1945 bola v literatúre Kuba pre Slovensko neznáma krajinou a neprekladali sa ani iné hispánoamerické literatúry. Prvý preklad z kubánskej literatúry vyšiel až v roku 1953 a bola to zbierka *Piesne Kuby. Výber z poézie Nicolása Guilléna* v preklade Vladimíra Olerínyho bol prebásnený Štefanom Žárým a Milanom Lajčiakom. Kubánska próza vyšla v antológiách *Žraločíe plutvy* (1961) a potom, aj popri prózach z iných literatúr Latinskej Ameriky, v antológii *Dni a noci Latinskej Ameriky*. V období medzi 1970 a 1989 sa utvorila silná generácia hispanistov a vyšli mnohé preklady z kubánskej literatúry. Po roku 1990 nastal prudký pokles prekladania kubánskej literatúry a objavujú sa u nás skôr české preklady.

Ďalší príspevok je *Priestor v Kukučínovom fragmente románu Syn výtečníka* od Ľubice Hroncovej. Autorka si vybrala pre svoj príspevok román Martina Kukučina *Syn výtečníka*,

ktorý ostal nedokončený, a ako autorka parafrázuje Oskara Čepana, dôvodom je „...používanie experimentálno-naturalistických prvkov zolovskej proveniencie, ktoré Kukučín nedokázal zvládnuť v medziach svojej metódy, preto ostáva román pokusom o napísanie prírodopisu rodiny a jednotlivca (s. 203).

Martin Navrátil publikoval štúdiu *Zbierka Vojtecha Miháliku Neumriem na slame (1955): Integrácia subjektívnej lyriky do socialistickej poézie*. Autor sa venuje zmenám v Mihálikovej tvorbe. Začal ako básnik religióznej a ľúbostnej poézie a neskôr prešiel k ospevovaniu triedneho princípu v skladbe *Spievajúce srdce*. Avšak o pár rokov neskôr sa začal vracieť k subjektívnej ľúbostnej lyrike v zbierke *Neumriem na slame*. Realitou je, že v spomínanej zbierke uverejnil aj mnohé staršie básne spred roka 1951. Autor porovnáva pôvodné verzie básní s konečnými verziami, ktoré vyšli v spomínanej zbierke. Píše, že redakcia starších básní v zbierke sa niesla v duchu dvoch tendencií – zahladzovania náboženskej minulosti a estetického dotvárania básní.

Nasleduje štúdia *Rihákův Pentcho – popkultúrní vyrovnání se s II. světovou válkou* od Agnieszky Słowikowskej. Autorka vo svojom príspevku píše o dôležitosti písania nových a nových diel s tematizáciou holokaustu, hoci ide o autorov, ktorí holokaust sami nezažili, pretože je nutné si pripomínať zverstvá II. svetovej vojny. Autorka túto tému reflektuje cez román Jara Riháka *Pentcho – Příběh parníka*.

Predposledný príspevok s názvom *Etická analýza diela Bejby sníva o mori (Run, baby, run) od Tiny van der Holland* je od Niny Kendrovej. Spomínané dielo si autorka zvolila preto, že je výrazne medzipredmetové. Uvádza, že sa vďaka nemu, ako literárnemu dielu, pretransformujú teoretické vedomosti žiakov o socializme z hodín dejepisu (keďže sa odohráva v 60. rokoch 20. storočia) do praktickej roviny ľudských emócií v etickom ponímaní. Kendrová uvádza, že hlavná hrdinka, napriek veľkým útrapám v detstve kvôli zlému otčimovi, nachádza šťastie a harmóniu vo svojom živote ako dospelá. Dielo prezentuje kladné morálne hodnoty, rovnako ako poukazuje na závažné etické problémy spoločnosti, ako napr. šikana, čo vďaka analyzovanému dielu preniká medzi čitateľov, ktorí si tak uvedomujú, že ide o problém. Kendrová v závere svojej štúdie píše o tom, že Tina van der Holland sa postarala šťastným koncom „o mravné poučenie a krásny estetický zážitok z diela, ktoré čitateľom ponúkla“ (s. 227).

Posledným príspevkom sekcie i celého zborníka je *Obraz hendikepu v súčasnej literatúre pre deti a mládež* od Veroniky Volochovej. Autorka si vybrala román americkej autorky R. J. Palaciovej *Obyčajná tvár* a román českej autorky Ivony Březinovej *Řvi potichu, brácho*.

Celý zborník ponúkol pestré spektrum príspevkov, v ktorých vidno diverzitu v témach literárnych vedcov a lingvistov – PhD. študentov. Niektoré ponúkli finálne výsledky výskumov, iné čiastkové s víziami do budúcnosti. Medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila aj v roku 2018 a výstup z nej *Filologické štúdie 4* je v príprave. Je vysoko pravdepodobné, že bude pokračovať v stanovenom trende prezentácie odboru filológie v celej jeho škále.

Jana Kitzlerová: Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy. Praha: Karolinum, 2014. 124 s. ISBN 978-80-246-2622-2

Nikoleta Mertová

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

nikoleta.mertova@unipo.sk

V českej a slovenskej lingvistickej, ale aj v literárnovednej komunite je meno Jany Kitzlerovej pomerne známe, predovšetkým vzhľadom na jej práce, sústredené v špecificky odbornom a úzkom kontexte skúmania obdobia futurizmu a kubofuturizmu či lingvistickej analýzy metaforického potenciálu poetického sveta jedného z najvýznamnejších ruských básnikov dvadsiateho storočia – Vladimira Vladimiroviča Majakovského (1893 – 1930). O tom svedčí aj množstvo jej skorších (2007, 2010, 2011, 2013, 2014), ale aj aktuálnych vedeckých prác (2017, 2018). Napriek tomu, že recenzovaná práca bola vydaná už v roku 2014, považujeme za dôležité na ňu upozorniť práve vzhľadom na fakt, že v českom a slovenskom akademickom prostredí, okrem niekoľkých parciálnych prác, predstavuje jednu z prvých sond, ktoré sa Majakovského dielu komplexnejšie venujú z aspektu lingvistiky.

Celková výskumná orientácia autorky osciluje okolo deskripcie a analýzy revolučného sovietskeho sveta pomocou metafory v básňach Vladimira Vladimiroviča Majakovského, ponímania hesiel spomínaného obdobia v jeho poézii a výtvarnej tvorbe, ale aj kubofuturistických experimentov a princípov futurizmu a kubofuturizmu v poézii raného Vladimira Vladimiroviča Majakovského. Ako uvádza sama autorka, v analýzach sa koncentruje na rané poetické práce Majakovského (do roku 1920) i tvorbu Majakovského plagátov preferovaného obdobia, pričom za dominantné pre pochopenie jeho poetiky považuje práve zámená, metafory a heslá.

Formálne členenie Kitzlerovej monografie je transparentné, recipientovi blízke už od počiatku a uvádza nás do zrejmej problematiky veľmi plynule, špirálovito a spontánne, čo sa odráža aj na tematickom spracovaní tohto diela. V siedmich nosných kapitolách Kitzlerová prezentuje svoje priority – poukázať na úlohu zámen ako prostriedkov lokalizácie Majakovského lyrického subjektu, na pozíciu a špecifickú metafory v systéme výstavby jeho poézie a analyzovať heslá Majakovského výziev, konštatácií, zdravíc, jeho slovesnej a výtvarnej tvorby či odkazu pre budúce generácie v Majakovského poézii. Snáď najrozsiahlejší ponor do sveta ranej Majakovského poézie predstavuje analýza jeho básnickej tvorby a vybraných veršov (*Несколько слов обо мне самом; Кофта фата; Себе, любимому, посвящает эти строки автор; III Интернационал; Наши марш; Владимир Маяковский – Трагедия (Эпилог); Поэт рабочий; Облако в штанах, I; Облако в штанах, II* a mnohých ďalších).

Autorka sa sprvoti venuje charakteristike Majakovského poetiky a jej záujem nie je povrchný – sprevádza nás premyslenou a zámerne volenou žánrovou štruktúrou (tzv. *žáner pochodu*) diel Majakovského, ktorá je bezpochyby – povedané spolu so Subbotinom – lyrická, satirická, monumentálna, elegická (1986). Charakteristiku Majakovského ranej poézie explicitne dopĺňa analýzou verša s atribútmi filmu, grafiky a obrazu, čím posilňuje jeho významovú výraznosť. V obraznosti Majakovského ranej poézie autorka zachytáva isté špecifikum, ktoré sa v Majakovského dielach neustále rozvíja a posúva hranice a silu rytmu. Rytmus je v Majakovského ranej poézii jedným z najvýraznejších významových prvkov – organizuje verš a dodáva mu údernosť a energiu, pričom demonštruje obraz komunikačnej situácie revolučného pochodu. Majakovského teda aj prostredníctvom analýz Kitzlerovej vnímame najmä ako básnika zobrazujúceho revolúciu v tempe, rytme, bohatých obrazoch, významoch a metaforách. Nie nadarmo

je rytmickosť Majakovského verša predurčená skôr recipientom vnímajúcim jeho poéziu sluchom než zrakom.

Primárnym stimulom sa pre výskum ranej Majakovského poézie z lingvistického aspektu stalo práve autorkino vnímanie Majakovského potenciálu – zobrazenia subjektu a objektu prostredníctvom osobných a privlastňovacích zámen, ktorými Majakovský užšie definuje svoje predstavy o sebe, o nich; svoj vzťah k zobrazovaným entitám a svoj zámer zobrazovania subjektu, ktorý je mnohokrát kritický (v kontradiktorickej relácii *ja – my – oni*). Majakovského *Ja* je jeho lyrickým subjektom, v ktorom sa hľadá a nachádza; prostredníctvom neho cielene buduje svoj poetický svet. Jeho poézia je subjektovo-objektová, pohybuje sa na pomedzí konfrontácie subjektu a objektu a často tvorí dominantu celého textu. Ako uvádza autorka, Majakovský tu cez kategórie *Ja – My* otvára monológ lyrického hrdinu vo výpovedi určenej recipientom (poslucháčom alebo čitateľom), na strane druhej toto *Ja – My* otvára dialóg s „tými druhými“, ktorých vymedzuje len veľmi vzdialene cez reláciu *Ja – Oni*.

Kľúčovou figúrou sa v Majakovského poézii stáva metafora (a aj metafora v metaforách) a ako uvádza Kitzlerová, v rámci analýzy metaforických obrátov sa sústreďuje na metódu metaforickej transferencie (prenosu) a analýzu významu a obsahu metaforických obrátov, ktoré klasifikuje tematicky a sémanticky; vytvára tak istú topografiu Majakovského poetického sveta. Spojením dvoch prístupov chce autorka dosiahnuť omnoho plastickejšiu predstavu o zložitých metaforických konštrukciách, o bohatom poetickom svete Majakovského, výrazne podmienenom autorskou metaforizáciou.

Heslá, ktoré sa podujala autorka analyzovať, sú heslami revolučnej doby, v ktorej Majakovský žil a v ktorej intenzívne tvoril nielen poeticky, ale aj výtvarne. Spätosť slovesnej a výtvarnej sféry Majakovského diela Kitzlerová demonštruje na príkladoch súladu formy, funkcie a obsahu hesiel Majakovského tvorby do roku 1920. Autorka ich klasifikuje so zreteľom na ich úlohu, ktorú zohrali, a ciele, ktoré splnili v poézii a na plagátoch z dielne Majakovského. Ako tvrdí Kitzlerová, zreteľný je aj sémantický aspekt analyzovaných hesiel, vyabstrahovaných z 94 plagátov Majakovského; je možné ich vzhľadom na ich intenciu diferencovať podľa toho, či je ich konštrukcia imperatívna alebo je vyjadrením Majakovského želania.

Osobnosť, akou Majakovský nepochybne bol, nielen vo svojej dobe, ale aj v obdobiach transcendujúcich jeho pozemskú cestu, sa autorke tohto, síce útleho, ale o to významnejšieho diela podarilo zachytiť aj v takých momentoch, ktoré nám dokážu sprostredkovať jeho jedinečný obraz sveta, prežívanie a interpretáciu doby vo všetkých jej zlomových momentoch.

Literatúra:

- KITZLEROVÁ, J. (2007): Лингвистический анализ, орудие интерпретации поэтического текста: Бог в стихах В. В. Маяковского. In: J. Marvan (ed.): *Balto-Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica*, VII/1. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, s. 91–100.
- KITZLEROVÁ, J. (2010): Příspěvek k deskripci funkce zájmen ve verších V. V. Majakovského. In: *Opera Slavica (Slavistické rozhledy)*, XX/20, s. 25–32.
- KITZLEROVÁ, J. (2011): K deskripci revolučního světa pomocí metafor v básních V. V. Majakovského (1917–1918). In: K. Kedron – M. Příhoda (eds.): *Etnicita Slovanského areálu*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 181–190.
- KITZLEROVÁ, J. (2013): К месту лозунгов в поэзии и изобразительном искусстве Маяковского (1917–1918 годов). In: *Anzeiger für Slavische philologie*, XL. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, s. 51–74.
- KITZLEROVÁ, J. (2017): Majakovskij a „byt“: analýza vybraných adjektivních neologismů a jejich užití v současné ruštině. In: *Studia Slavica*, XXI/2, s. 75–86.
- KITZLEROVÁ, J. (2018): Principy futurismu a kubofuturismu v poezii raného Vladimíra Majakovského. In: *Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury*, 57, s. 37–48.
- СУББОТИН, А. (1986): *Маяковский сквозь призму жанра*. Москва: Советский писатель.

Medzinárodný kongres ukrajinistov

Mária Čižmárová

Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

maria.cizmarova@unipo.sk

V dňoch 24. – 28. júna 2018 sa v Kyjeve konal 9. medzinárodný kongres ukrajinistov. Jeho organizátorom bola Ukrajinská akadémia vied, Medzinárodná asociácia ukrajinistov¹, Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny, Ministerstvo kultúry Ukrajiny a Národná univerzita Tarasa Ševčenka. Na kongrese sa zúčastnilo okolo päťsto jazykovedcov, literárnych vedcov, historikov, etnológov, kulturológov, filozofov, múzejníkov a iných bádateľov z Ukrajiny a mnohých krajín sveta (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Bielorusko, Rusko, Bulharsko, Srbsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Veľká Británia, Kanada, USA). Súčasťou kongresu bolo plenárne zasadnutie, tri konferencie, dvanásť okrúhlych stolov a jedenásť tematických sekcií. Na plenárnom zasadnutí účastníkov kongresu privítali predstavitelia ukrajinskej vlády a parlamentu vrátane ministerky vzdelávania Lidije Hrynevych, ktorá vystúpila s referátom *Reforma akademickej vedy v kontexte eurointegračných procesov Ukrajiny*. Následne odzneli ďalšie referáty a účastníci kongresu si vypočuli *Správu o činnosti asociácie od 8. medzinárodného kongresu* prezidenta Medzinárodnej asociácie ukrajinistov profesora Michaela Mosera z Viedenskej univerzity. Slovenskú delegáciu tvorili doc. Ľubica Babotová, CSc., Dr. Miroslav Sopoliga, DrSc., PhDr. Adriana Amir, PhD., doc. Vladislav Grešlík, CSc., a prof. Mária Čižmárová, CSc., z Prešovskej univerzity.

V prvý deň kongresu sa konala videoprezentácia unikátnych prác venovaných aktuálnym aspektom domácej a zahraničnej ukrajinistiky pri príležitosti 100. výročia založenia Ukrajinskej akadémie vied. Bola prezentovaná *Ševčenkova encyklopédia* v šiestich zväzkoch vydaná Inštitútom literatúry UAV, *História dekoratívneho umenia* v piatich zväzkoch vydaná Inštitútom umenia, folklóru a etnológie. Publikácia *Dejiny ukrajinskej kultúry* je výsledkom spolupráce viacerých akademických inštitútov, jazykovedci prezentovali niekoľko encyklopedických slovníkov. Hodnotné publikácie boli prezentované aj v jednotlivých sekciách a v rámci okrúhlych stolov.

Na kongrese sa rokovalo o stave a perspektívach ukrajinskej jazykovedy, ukrajinskej literatúry ako duchovno-estetickéj národnej skúsenosti, o preklade ako medzikultúrnej komunikácii, o dejinách Ukrajiny, o interdisciplinárnych aspektoch súčasnej folkloristiky a etnokultúre v kontexte historickej retrospektívy, o aktuálnych globalizačných výzvach, o poslaní pedagogiky v reformovaní súčasného vzdelania a i. Vyhlásené boli aj interdisciplinárne témy a okrúhle stoly. Prioritou bola téma *100 rokov Národnej akadémie*

¹ Medzinárodná asociácia ukrajinistov je spoločenstvo bádateľov skúmajúcich históriu a kultúru Ukrajiny a ukrajinského národa. Bola založená v Taliansku v roku 1989 na ustanovujúcej konferencii z iniciatívy a za účasti ukrajinistov Národnej akadémie vied Ukrajiny, USA, Kanady, Talianska, Francúzska, Poľska, Belgicka a Holandska. Hlavným poslaním asociácie je propagácia obnovenia a rozvoja ukrajinskej vedy, uchovávanie pamiatok histórie a kultúry, šírenie vedomostí o kultúrnych skvostoch a kultúrnych úspechoch ukrajinského národa vo svete, organizácia ukrajinských vedeckých fór, koordinácia činnosti národných asociácií v jednotlivých krajinách. Prvým prezidentom Medzinárodnej asociácie ukrajinistov bol ukrajinský jazykovedec Vitalij Rusanivskij. Prvý kongres sa konal v Kyjeve v roku 1990, následne vo Lvove, Charkove, Černoviciach, v Odese, v Donecku a v Kyjeve. Materiály medzinárodných kongresov sú publikované vo Vedeckých zápiskoch Medzinárodnej asociácie ukrajinistov.

vied: prínosy, straty, perspektívy rozvoja. Na inej konferencii sa riešili otázky späté s oslavami 1030. výročia krstenia Rusi-Ukrajiny – história a súčasnosť kresťanstva na ukrajinskom území. Ukrajinskému lingvistickému dialógu bola venovaná tretia konferencia. Na zasadnutí za okrúhlym stolom na tému *Život a tvorba Pantelejmona Kuliša* sa zúčastnili poprední literárni vedci, ktorí okrem iného diskutovali aj o oslavách 200. výročia narodenia tejto všestrannej vedeckej osobnosti pripravovaných v roku 2019.

Na medzinárodnom kongrese si prítomní uctili pamiatku ukrajinských bádateľov, ktorí opustili svet od ostatného kongresu. Spomedzi nich treba spomenúť popredných zakarpatských jazykovedcov a dlhoročných spolupracovníkov Prešovskej univerzity – prof. Pavla Čučku, DrSc., prof. Vasyľa Nimčuka, DrSc., a prof. Ľubomyra Beleja, DrSc.

Jeden z okrúhlych stolov *Výskum dejín ukrajinského jazyka vo vedeckom bádání Vasiľa Nimčuka* bol venovaný slavistovi V. Nimčukovi a jeho vedeckému bádaniu. Účastníkom kongresu bol premietnutý dokumentárny film *Vymir spravžnosti* natočený študentmi a učiteľmi Katedry žurnalistiky Užhorodskej národnej univerzity s úvodným slovom prof. Pavla Hrycenka, DrSc., riaditeľa Inštitútu ukrajinského jazyka UAV.

Za prezidenta Medzinárodnej asociácie ukrajinistov bol na záverečnom plenárnom zasadnutí opäť zvolený profesor Michael Moser z Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity, autor mnohých vedeckých prác z problematiky východoslovanskej jazykovedy a historickej gramatiky ukrajinského jazyka.

Vedeckú prácu kongresu spríjemnili vystúpenia umeleckých kolektívov, návšteva kyjevských múzeí a divadelných predstavení. Účastníci kongresu mali možnosť navštíviť Múzeum národnej architektúry v Pyrohove neďaleko Kyjeva založené v roku 1969. Ponad 200 objektov múzea sa rozprestiera na ploche 150 km², na ktorých sa návštevník môže preniesť do ďalekej minulosti a predstaviť si bohatú architektúru a ľudové stavitelstvo ukrajinského národa.

Veľké poďakovanie za skvelú organizáciu Medzinárodného kongresu ukrajinistov v Kyjeve patrí organizátorom podujatia.